
В. Л. КРЫМОВ
СЕГОДНЯ
ЛОНДОН
БЕРЛИН
ПАРИЖ
«ЖИЗНЬ ИСКУССТВА»
ЛЕНИНГРАД
1925

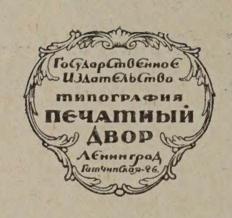
ВЛ. КРЫМОВ

СЕГОДНЯ

[ЛОНДОН—БЕРЛИН—ПАРИЖ]



ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА
«ЖИЗНЬ ИСКУССТВА».



Ленинградский Гублит № 19973 8$^{3}/_{4}$ л. Отп. 4.000 экз.

ЛОНДОН.

Ни об одном городе в мире нельзя услышать столько разноречивых, совершенно противоположных мнений, как о Лондоне.

Мрачный, печальный с первого впечатления. Самый большой в мире и самый мрачный в мире. «Лондонские туманы»... Обескураживающий и давящий, прижимающий нового человека к земле своей громадностью и своей суровостью, своей гигантской чужой жизнью...

И такой уютный внутри, когда обживешься, приживешься, узнаешь тайники этого десятимиллионного города.

Климат такой неприветливый и такой мягкий...

Город, где находили спокойный приют анархисты, куда ехали русские и всякие другие эмигранты, отовсюду гонимые; где нашли второе отечество триста тысяч русских евреев и полюбили его искренно; где живут лучше, чем дома, сто тысяч негров и китайцев... И вместе с тем страшный город!

Город скрытный, все спрятавший для нового глаза. Дома окружены высокими каменными заборами. Чтобы не видно было внутрь...

Во всех больших городах, западная часть большей частью—богатая, аристократическая, восточная—бедная, пролетарская.

Почему это?

В Лондоне это разделение тоже резко подчеркнуто, хотя Лондон такой громадный, 10-миллионный конгломерат, что теперь часто это правило нарушается. Теперешний Лондон состоит из десятков бывших отдельных городов, и в каждом из них были бедные и богатые. Получилось так: дорогой квартал, шикарные особняки, а соседняя улица — грязный рынок, и ютится беднота. Какой-нибудь Вульич или Ричмонд, куда ездили во времена Диккенса в дилижансах, теперь тот же Лондон, сплошной город Лондон.

Здешние люди, больше, чем где-либо, привязаны к своему месту. Часто за всю жизнь счетом несколько раз был в других частях города.

В замке Кингсвуд, верстах в двадцати от Лондона я разговорился с садовником. Он говорил о Лондоне, как о чужом городе.

— А часто бываете в Лондоне?

— Нет, не часто... года два, как не был...

И это не исключение. И это не потому, что он занят: просто он живет своей жизнью, в своем Кингсвуде.

Определенная черта в англичанах: бродят по всему свету, живут в колониях и совсем чужих странах,

везде чувствуют себя дома, но в конце концов возвращаются домой, в настоящее «домой», редко приживаются к новому месту. Если кто-либо и обоснуется в новом крае, остальные из семьи остаются в Англии, и связь с ними не нарушается. В этом отчасти секрет такой загадочной связи колоний с метрополией.

В последнюю войну колонии сделали не меньше, чем сама Англия, чтобы победить во что бы то ни стало. Английские нервы оказались крепче. Поразительная у них была уверенность даже в самые трудные минуты.

— Англия проиграть не может...

— Я не знаю, как и когда мы выиграем, но я знаю, что Англия не может проиграть... — так все говорили.

В самый трудный момент, во время последних германских наступлений, я говорил в Японии с англичанами. Они признавали свои большие неудачи и потери, но вывод был все тот же — «Англия не может проиграть»...

— Но ведь немцы могут на-днях взять Париж?!

— Да... могут...

— Что же тогда?...

— Тогда война будет еще лишних три года.

Признавали все возможным, но «Англия не может проиграть»... Ругали свои порядки, неподготовленность, медлительность, и все-таки—«Англия не может проиграть»...

* * *

Для тех, кто был в Лондоне давно, теперь после войны он иной.

Когда-то туристов возили к половине 9-го утра на Лондон-бридж (мост) смотреть на толпу клерков, которые сплошной толпой идут в Сити на службу со станции Уотерлу. Все эти десятки, сотни тысяч людей, одеты были, один как другой, в длинных сюртуках и цилиндрах. Ничего этого не осталось. Цилиндр почти ушел из Лондона и его только изредка видишь в шикарном автомобиле или на настоящем упорном лондонце — потертом и поношенном, но не желающем расстаться с цилиндром. Даже на разъезде из оперы не все цилиндры.

В Англии традиция — все. Нация живет традицией. В традиции ее сила. Но меняется и неизменное.

Вместе с цилиндрами ушли и былые «хэнсэмы» — лондонские извозчики, каретки на двух колесах, с кучером наверху; их съели мотор-кары, и теперь «хэнсэм» стоит как достопримечательность в Кэнсингтонском музее.

Нет и белой палочки у лондонского полисмэна, у «боби». Палочка ушла под напором идей современности: палка — не демократично. Теперь «боби» делает просто знак рукой, и этого жеста слушаются не меньше.

Лондонская полиция—лучшая в мире, и даже не лучшая: она совершенно особенная, ее не с чем сравнивать, нигде нет подобной. Нету на свете существа

спокойнее, чем лондонский «боби». Я наблюдал его в самые юмористические моменты.

* * *

В провинции я купил пятьдесят живых кур и послал за ними человека с двумя корзинами. Оказалось, что в корзину можно посадить «по закону» не больше восьми кур. Посланному пришлось купить большой ящик. В этом ящике он привез кур на лондонский вокзал уже ночью, во втором часу. Ящик был так велик, что не влезал ни в один из «ванов» (крытых телег), и пришлось оставить его на вокзале, а кур пересадить прямо в «ван», насыпью, так сказать.

В третьем часу ночи «ван» подъехал к моему дому. Среди ночной тишины кур открыли, чтобы по несколько штук перенести в курятник. Но куры совершенно обалдевают, если потревожить их ночью, да еще под ярким электрическим фонарем. Как только дверь вана была открыта, они с необычайным кудахтаньем вылетели на широкую улицу и разбежались с дикими воплями. На улице поднялся такой переполох, какого вероятно не бывало со времен Кромвеля.

Сидя за занавеской в спальне, я смотрел на эту трагикомедию и не показывался, ожидая, чем кончится.

На углу, как всегда, стоял городовой. Мне было особенно любопытно—что он сделает?... Но он ничего не сделал. Он продолжал так же спокойно стоять, пока в течение полутора часов неистово кричащих кур ловили в разных концах улицы.

Здесь не было нарушения закона, не было нарушения тишины по злой воле—и городовой был спокоен. И только на лице его видна была сдерживаемая улыбка. Мне ужасно хотелось, чтобы он принял участие в ловле кур, но мне не удалось этого увидеть. Боби был спокоен, как статуя, и сохранял свое бобино достоинство.

* * *

Поляки хотели завести в Варшаве такую полицию, как лондонская. Им командировали в Варшаву инструктора, лучшего специалиста.

И полиция Варшавы осталась худшей в мире, хотя устроена по образцу лучшей в мире...

Один умный поляк сказал:

— Надо отдать наших полицейских на выучку в Лондон... Пусть они там умрут. Их потомки, лет через двести, будут хорошими городовыми...

* * *

Старый Лондон остался только кое-где, в переулках, куда меньше проникла война. Там он прежний, самый интересный. Большая улица демократизировалась, перестали уважать традицию: традиция живет в переулках.

Ночью появляются тени прошлого — кэбы, хэнсэмы, торговцы горячим, с лотком освещенным маленькой керосиновой лампой, и выходят люди, которых днем никогда не увидишь, в каких-то особых давниш-

них костюмах. Днем в них показаться нельзя, они слишком стары и странны, и на них днем смотрели бы, как на маскарадные...

Моют мостовую и вытирают ее автомобилями—щетками. На скамейках парков и набережной сидя спят люди — им не хватило места в ночлежках или нет трех пенсов заплатить там. Мягко, мелодично шурша по гудрону, плывут мимо «Рольс-Ройсы», самые дорогие в мире автомобили; в них колье, на которые можно построить дома для всех, дремлющих на скамьях...

Но лимузины с большими зеркальными стеклами больше не модны — стекла поменьше и с занавесками: в большие стекла особенно просятся камни, и не надо злить «толпу»... Она, эта толпа, такая дисциплинированная тут, шестьсот лет воспитываемая, начинает выказывать порою стремление к эксцессам... Она загадочна, толпа Лондона. Загадочна, как весь Лондон...

* * *

В Париже и Берлине такси мчатся с гулом и ревом. Полная противоположность Лондону: там ездят молча и тихо. Лондонским городовым внушено:

«Помните, что каждый шоффер и каждый кучер ваш приятель, и помогайте ему во всяком затруднении, как вы помогали бы своему лучшему другу».

Нигде в мире нет такого порядка и уверенности в движении, как в Лондоне. Английскому шофферу веришь безусловно. Французский ездит превосходно,

смело и нагло, но все время держишь его под сомнением.

Немецкий шоффер нервничает, ругается с извозчиком и прохожими, много трубит, и тоже нет той веры, как в английского. И движение в Берлине безобразное — не знаешь, с которой стороны переедут...

На улице Лондона никто не уступает дорогу — поэтому такой порядок. Парадоксально, но именно так!..

Движется большой «бас», в нем сорок человек, рядом Рольс-Ройс везет премьер-министра; а впереди мешает велосипедистишка, рыжий «бой» без шапки, везет на шиллинг капусты и морковки — из-за него не проехать... Но ни бас, ни Рольс-Ройс не трубит: когда будет место, рыжий бой сам свернет налево (в Лондоне едут по левой стороне), а пока он едет с такой скоростью, какая ему возможна, и никто ему трубить не смеет, и если бы кто-нибудь (не англичанин) стал трубить, он все равно на это никак реагировать не будет. «Сам знаю и сам сверну, когда будет можно»...

В Берлине каждый велосипедист думает, что он автомобиль.

* * *

Английские деньги кажутся сразу абракадаброй.

В шиллинге двенадцать пенсов, в фунте двадцать шиллингов. Когда нужно подводить итог из таких цифр:

3 фун.	12 шилл.	9 пенс.
— »	18 »	5 »
17 »	11 »	11 »

с непривычки теряешься, путаешь; в магазине, получая сдачу, веришь на слово, стыдно признаться, что не умеешь сосчитать без карандаша.

Если стоит полтора пенса, англичане говорят — «три половины» и тоже сразу не понимаешь. Два с половиной шиллинга, это — «хафкраун», полкороны, потому что когда-то была «корона», пять шиллингов. Чеканятся два шиллинга и полкороны, и они почти одинаковы.

Для фунта сохранилось еще старое название — «соверен», и иногда говорят фунт, иногда соверен.

Плата врачу, недельная плата за квартиру, торг на аукционах ведется не в фунтах, а в «гинеях». В гинее двадцать один шиллинг. Когда-то чеканили такую монету для колоний; ее давно нет, но счет остался. Часто видишь в окне надпись —

«$17^1/_2$ гиней» —

и долго не привыкаешь соображать, что это

18 фунт. 7 шилл. 6 пенс.

Шиллинг зовут часто «боб» и, говоря вместо шиллинга боб, можно выказать, что не совсем новичок в Англии. Но зато как смеются, если по аналогии шиллинг — шиллингс (множ. число), паунд (фунт) — паундс, сказать «три бобс, или «пять бобс»: боб не имеет множественного числа и нужно говорить «один боб», «три боб», «сто боб»...

Есть «пять пенсов», «десять пенсов», но нет «одного пенса», а «одно пенни»... Два пенса правильно «ту

пенс», но хотя это правильно, никто так не говорит, а говорят — «та пенс»... И это не «кокнэй», тот особый язык Лондона, на котором говорят в Сохо и Уайтчапеле, говорят извозчики, уличные торговцы, городовые и т. д. — так говорят все, сам Ллойд-Джордж и сам король.

Единственное место на земном шаре, где сейчас платят золотом и за бумажки надо платить премию, — Гаваи, Сандвичевы острова, штат Северо-Америк. Соедин. Штатов. Везде в остальном мире — бумажки. В Англии золота в обращении нет, но если прийти в Английский банк и потребовать золотом — дадут золотом. На беленьких английских бумажках написано:

«По предъявлении платится золотом» -- это не отменено никаким биллем парламента, и поэтому каждый в праве требовать золото. Если спросить золото, чиновник банка напомнит, что это не патриотично, что золотую монету нельзя переплавлять или вывозить из Англии, но если все-таки настаивать — дадут золотом...

Был громкий процесс: несколько типов ходили ежедневно в банк и меняли бумажки на золото. В течение нескольких месяцев они наменяли больше 10.000 фунтов, Им продолжали менять, но полиция следила. Наконец, накрыли, когда они переплавляли монеты в слитки, всех судили, понятно, и присудили к «тяжелым работам».

* * *

Меры веса не лучше.

Фунт имеет то шестнадцать унций, то двенадцать, смотря для чего. Большая мера — «hundred weight» в переводе буквально — «весящий сто»; но к удивлению в этом «хандрэдуэйте» не сто фунтов, а сто двенадцать... И считают — пол этой меры, четверть этой меры, и цена в гинеях: попробуйте рассчитывать цены фунта... И пишется «хандрэдуэйт» сокращенно — «cwt»!..

Еще до войны был поднят вопрос о введении метрической системы. Несколько лет заседали по этому поводу специальные комиссии и недавно, наконец, исписавши томы, решили... старого счета не менять!

* * *

С английским языком можно спокойно ездить по всему свету, зато в Лондоне без английского языка очень плохо и даже с плохим английским плохо. Один русский два дня возился с багажом из-за того, что называл вокзал не «Юстон», а «Истон». Ему нужно было на «Юстон», Euston Station, а его все время за справками возили на Истон Eastern Railwars, совсем в другой части города. «Другая часть» в Лондоне не близко. Город—гигант. Самый большой город в мире и по населению, и по пространству — едешь, конца нет. И все растет.

Дивный город... Город — сфинкс.

Я всегда мечтал с раннего детства жить в самом большем доме в мире и в самом большом городе

в мире и ездить на самом быстром поезде в мире. Самый большой дом я тогда представлял себе этажей в семь-восемь, потому что самый высокий в нашем городе был в пять этажей. От первого желания я давно отказался, но от второго и третьего — нет.

Жизнь в таком городе, как Лондон, манит к себе, и, привыкнувши, нельзя уйти. Лондон давит нового пришельца, борьба за жизнь страшна тут. Всегда так: чем больше город, тем страшней борьба, «struggle for life». Но тот, кто ужился, не хочет уходить даже и на лучшее в маленький город.

* * *

Война дала лозунг: экономия во всем. — Но до сих пор англичане выбрасывают начавшее киснуть молоко. Когда я им показывал, как делать творог и сметану, они смотрели, но сами этого все-таки пе делали.

До сих пор не умели чистить дымовые трубы тем простейшим способом, которым у нас чистят их столетия: берется метла, к ней привязывается кирпич, все это навязывается на веревку и спускается в трубу. Только недавно в лондонских газетах сообщалось, что кто-то в Англии выдумал, наконец, этот удивительный способ и что это очень удобно, дешево и просто...

Многому могли бы мы научиться у англичан.

Например, их холод в квартирах. Климат в Лондоне считается одним из самых нездоровых. Или это ошибка, или англичане спасают себя холодными квартирами,— но здесь простуживаются меньше, чем где-либо. Когда

привыкнешь к холоду английской квартиры и к спанью зимой с открытым окном — простудиться, действительно, трудно. Однако, то, что хорошо в странах с сырым климатом, находящихся под влиянием Гольфстрема, — то может оказаться скверным на континентальном. В сухом климате спать ночью с открытым окном гораздо опаснее, чем в лондонской сырости.

* * *

В Берлине тщательно закрывают дверь трамвая и омнибуса: в лондонском омнибусе и окна открыты.

Когда едешь в поезде между Лондоном и Берлином, сразу видно, в каком купэ сидят англичане, в каком немцы: у англичан все раскрыто, даже в мороз, окно и дверь, и вентилятор; у немцев все притворено и сидят еще в шубах.

Впрочем, и то надо сказать: хорошо раскрывать окно, когда одет во все шерстяное, сделанное действительно из овечьей шерсти, когда съел добрый кусок ростбифа и запил кружкой доброго стаута, крепчайшего английского пива.

Но совсем иное немцу, когда все шерстяное из бумаги второго сорта, и пиво из продуктов перегонки каменного угля, а ростбифа вовсе не было... Тогда знобит.

Мы в России всякое английское пиво звали — «портер». Побывавши несколько раз в Англии, я заметил, что «Портер», это — фамилия известного фабриканта пива и, значит, так называть неправильно, а надо звать — «стаут».

Но, поживши в Англии, я узнал, что и сами англичане зовут «портер», и слово это происходит от «портер» — носильщик, потому что носильщики особенно любят этот сорт пива! Что же касается фабриканта, мистера Портера, то вероятно он произошел от «портера» — а не «портер» от него.

Часто лучше совсем не знать, чем знать не до конца...

* * *

Английская еда имеет характерную черту: готовят так, как скорее, проще. Стэк, но не котлеты или какие-нибудь голубцы. Котлеты много выгоднее, экономнее, но с ними больше труда, а со стэком — отрезать и бросить на сковороду, и через пятнадцать минут готово.

Внутренности курицы, ножки, крылья здесь выбрасывают, так как готовить их слишком много возни. У рыбы отрезаются и выбрасываются хвост и голова с добрым куском мякоти — с ними много возни. Чуть-чуть подморозило сверху кочан цветной капусты — выбрасывается весь: слишком долго разбирать его по частям, не стоит затрачивать дорогой труд.

В Англии многие живут бедно, многим жить трудно. Но если сравнить стандарт жизни рабочего английского с рабочим немецким, это — целая пропасть. Жена второго может сварить обед из того, что выбросит жена первого.

* * *

С осторожностью нужно критиковать порядки чужой страны. Я много раз упирался в это, давал себе слово быть осмотрительнее. Худо соваться в чужой монастырь со своими уставами.

Один богатый русский, умный и изворотливый, — настолько умный и изворотливый, что сумел и сквозь революцию пронести свои миллионы, — приехавши недавно в Лондон, купил дом и стал его перестраивать на свой вкус.

Понятно, первым делом тепло. Устроил центральное отопление и посмеивался над глупыми англичанами, которые сидят у негреющих каминов и небо греют — «руки греешь — спина мерзнет, спину греешь — ноги мерзнут»...

Получилась теплая и сухая квартира. Но в этой сухости сырой воздух Лондона стал осаждать тонкую-тонкую угольную пыль. Чем больше вентилировали комнаты, тем больше осаживалось этой черной, тончайшей пыли. Обивка мебели, ковры, платья пропитывались ею. Стоило немного посидеть в этой «теплой и сухой квартире», как руки становились черными, точно трубы чистил...

Тут стали смеяться уже англичане.

Кроме того: жившие в квартире постоянно простуживались.

* * *

Когда-то рестораны Лондона славились своими специальностями. У Симпсона были знаменитые ростбифы; у Скотса—необычайные омары, устрицы и лан-

густы. В итальянских ресторанчиках Сохо — знаменитые ризотто.

Это ушло. Англичане едят так же много, как и раньше, но не так изысканно, как раньше. И рестораны потеряли свои «специальности».

В театрах, в партере, нет больше фрака с белым жилетом — пиджаки и смокинги, и только изредка прежний изысканный фрак.

Лондон демократизировался.

Белые перчатки всегда носили масоны; белые перчатки дарят в Англии судье за счет общины, если у него не оказывается дел для разбора, и белые перчатки носят до сих пор с фраком.

* * *

Если купить в Лондоне башмаки точно по мерке и в них приехать на континент, они начинают жать ногу. Это не шутка. Англия — остров, остров, целиком лежащий в Гольфстреме. Климат Англии исключительно влажный. Кожа башмака в этом влажном климате несколько эластичнее и остается растянутой, как ее растянули на сапожной колодке. Попавши в климат континента, она быстро ссыхается и съеживается и начинает жать. Если в том же башмаке приехать, скажем, в Рио-де-Жанейро, где еще влажнее, башмаки будут еще свободнее, чем были в Лондоне, и все стельки отклеятся и свернутся.

Со мной был такой случай, и я по неведению винил тогда гостиничного боя, что это он выдрал,

неаккуратно чистя... Самые некультурные судьи — самые строгие судьи.

Я купил в Лондоне чемодан с туалетным прибором. Три флакона точно и плотно вставлялись в кожаные чехлы. Теперь здесь в Берлине ни один не лезет в предназначенное ему место. А стоящий сейчас у меня на столе большой альбом видов Шотландии, переплетенный в дерево, изогнулся дугой от здешней сухости. Переплет сделан в 1870 году, в Англии он сох пятьдесят лет и не высох...

Привыкнув к сырости Англии, даже несколько болезненно начинаешь ощущать сухость континента. И, глядя на англичан, может быть самых здоровых людей в мире, начинаешь верить, что эта сырость Гольфстрема благоприятна человеческому организму.

Эта сырость стоит англичанам громадных денег. Все быстро портится. Железо насквозь проедается ржавчиной, медь зеленеет, камни протачиваются мхом и лишаями. Постройки разрушаются в Англии гораздо быстрее, чем на континенте.

Зато какая зеленая, ярко-зеленая, радостная и свежая трава; как красивы газоны и кусты, какие мягкие и свежие краски у леса и береговых скал Дувра. Может быть поэтому и живопись у англичан совсем своя, сочная, полная, свежая. Футуризм везде имел своих адептов, но только не в Англии. Самое строгое искусство в Англии. Составилось это из боязни новшеств и даже из шовинистической ревности к чужому.

Разве только в модах англичанки слепо идут за Парижем. Но те марки шампанского, которые особенно любят французы, англичане держат в подозрении: им Франция готовит шампанское особых марок.

* * *

Мистрис Барделль, с которой судился мистер Пиквик у Диккенса, пила всегда портвейн. И до сих пор все англичанки пьют портвейн, и портвейна в Англии выпивается много больше, чем во всей остальной Европе. Вино—так должно быть вино, а не жиденький брандахлыст в роде медка или рейнвейна. Пиво — так «басс», темное и густое, почти мальц-экстракт, которым нас кормили в детстве от кашля. Или «эль» градусов в 18...

В чайник сыплют пригоршню чаю, и чай крепок, как кофе, и к нему жирные сливки и хлеб, толсто намазанный датским маслом.

У нас во дворе жил доковый рабочий. Он говорил:

— Я люблю кофе только настоящий. Чтобы чашка была большая, три куска сахару и половина кофе, половина сливок, и лить в чашку то и другое одновременно, чтобы кофе кипел, и сливки кипели, чтобы сверху была пена...

Приехав в Берлин, я пил что-то и был уверен, что это чай, чай — с каким-то привкусом.

— Хотите еще кофе? — любезно спросила хозяйка.

— Кофе... ах, нет, благодарю вас, — понял я наконец.

* * *

В былое время в Москву ввозилось вина втрое меньше, чем вывозилось. А Москва пила.

Была известна Кашинская мадера.

Хозяин ренскового погреба кричал вниз своему помощнику:

— Махен зи мадера...

Наливали черничного соку и писали:

«Го-Лафит» или даже «Го-го-Лафит».

В Германии содержимое тоже никогда не соответствует надписи. Для того, чтобы получить кофе, не спрашивают кофе, потому что кофе делается из ячменя и цикория — нужно спрашивать «Мокка», но мокка будет приготовлено тоже не из «Мокка», а из бразильского кофе.

Иное в Англии.

Если на бутылке написано «Мадейра», — то это должно быть вино с острова Мадейры. И никакое другое. Если это портвейн, то — он должен быть из города Опорто. Иначе это уголовное преступление.

* * *

Английский особняк полон пережитков и неудобного. Он приспособлен на семь прислуг, а теперь это уходит.

Четыре этажа и в каждом две комнаты. Вода в комнаты не проведена, а нужно таскать кувшины и выносить ведра. Англичанин не может умываться без горячей воды, значит, — нужно два кувшина.

В Америке везде вода — и холодная и горячая При каждом номере в гостинице ванна, и кран такого диаметра, что наполняется ванна в две минуты.

Это один из парадоксов английского уклада. Во всем впереди — и вдруг в чем-нибудь упорно на двести лет назад.

* * *

Почему мадера и особнячок, что общего?..

Приехавши в Лондон, я сразгону купил дом. И меня надули. После спокойного размышления, после того, как я дал триста фунтов задатка, стало ясно, что надули. Потерзав себя, не поспав две ночи, я решил — пусть пропадает задаток, откажусь от дома.

Но агент, продавший дом, старый волк, заявил, что это не пройдет, что я должен уплатить во всяком случае еще тысячу восемьсот фунтов и взять дом. В России пропадал задаток или возвращался двойной; по английскому закону договор должен быть выполнен во всяком случае, потеря задатка не освобождает от его выполнения.

Обратился к адвокату. У адвоката старый волк — делопроизводитель. За каждую минуту разговора ставили в счет шиллинги, и надо было платить их вперед.

Старый волк с начала и с конца прочел наш договор, но не нашел, к чему придраться. Прочел копию купчей продавца, ища там какой-нибудь заковыки — но тоже безрезультатно. Если русские купчие крепости писались языком, мало понятным для простого

смертного, то английские пишутся уже вовсе непонятным. И если написать понятно, будет незаконно.

Старый волк послал меня навести справки в каком-то учреждении о прежних владельцах дома. Но и из этого ничего не вышло.

— Неужели ничего нельзя сделать? — опечалился я.

— Сделать всегда можно.

— Что же?!

— Что-нибудь...

И он подмигнул одним глазом.

— Затянем дело на три года. Тем временем они дом никому другому продать не могут. Им это не особенно выгодно, пойдут на уступки.

Но меня все-таки это мало устраивало. В конце концов через три года могут присудить и сумму и убытки.

Глядя на мою печальную физиономию, старый волк подумал несколько секунд и подмигнул другим глазом:

— Поедемте вместе, я хочу посмотреть дом... Может быть в нем нет фундамента или крыши, — засмеялся он.

Мы поехали. Но войти в дом не могли, так как ключ был у агента. Однако, старый волк в окно увидел люстру.

— А люстру вам тоже продали?

— Да.

— Ее нет в купчей.

— На арматуру есть особая опись.

— Опись!.. Так чего же вы раньше не сказали, давайте ее сюда.

Дело было спасено. На завтра утром был послан эксперт осмотреть электрическую арматуру. В одной из кладовых, в подвале, оказался позеленевший кронштейн, который в описи значился — «бронзовый кронштейн». А когда эксперт поскоблил его ножом, оказалось, что он железный и только бронзирован.

Меня обманули, продали не то, что значится в описи! И хотя цена всему кронштейну была пять шиллингов, весь договор шел на смарку.

После нескольких телефонных звонков мне вернули триста фунтов, и я за дверью слышал, какими страшными для англичанина словами ругался агент.

Старый волк встретил старого волка. В Англии все старые волки...

* * *

На знаменитых партиях футбола, крикета и тенниса собираются десятки тысяч людей. Но самые шальные цены — на бокс. Когда бокс бывает в лондонской Олимпии и выступает какой-нибудь «премьер»,— первые места стоят 15 гиней, а где-нибудь далеко — 2 гинеи... И по этим ценам собирается десятка два тысяч зрителей. Никакой Шаляпин, Патти и Карузо не получали столько, сколько боксер.

Когда француз Карпантье дрался с Бекетом и в течение пяти минут положил этого гиганта, толпа пришла в такое неистовство, что можно было ожидать катастрофы. Я думал, что все здание разнесут вдребезги, что оно рухнет от сотрясения... Стоял рев. Люди

кричали и прыгали, как угорелые. Возбуждение бывает на скачках, но ничего подобного. Тут не узнаешь англичан, — это не англичане, а испанцы, калабрийцы...

Когда Бекет упал, сидевший рядом со мной почтенный джентльмен, — и не он один, а многие, — вскочили вдруг на стулья и стали на них подпрыгивать как можно выше и махать руками и неистово кричать, хотя им совсем не следовало радоваться, так как победил француз...

Прежде всего fair play, чистая игра. Интересна борьба с разными силами, такая, где исход может зависеть от уменья, ловкости. Где слишком большой перевес, где уже предрешено, — это не спорт, неинтересно.

Когда англичане играют в «бридж» и один из партнеров слишком долго думает над ходом, другие говорят:

— Скорее... будь спортсменом...

Важно не только то, чтобы сделать непременно правильный ход, а нужно затратить на него не больше времени, чем затрачивает противник. Можно, собственно, думать сколько угодно, но тогда это уже не спорт, не игра, а вымучивание.

Знаменитый крикетист, это — не меньше, чем большой государственный деятель. На-днях я читал у одного английского писателя:

«...Кто знает — быть-может из этого ребенка выйдет большой человек, и английский народ будет

гордиться им, как знаменитым крикетистом, философом или министром»...

И тут нет иронии.

* * *

Читая английские газеты, сразу ошибаешься, глядя на сенсационные заголовки; потом перестаешь ошибаться.

Только что поселившись в Лондоне, я прочел, что (автобусы) номера такие-то, после обсуждения в нескольких комиссиях, решено наконец отменить. Одним из этих «басов» я иногда пользовался. Я пожалел, что его отменили. Иду через три дня и вижу, что «бас» ходит, как и прежде.

— Отменили его на один день. Разве можно его отменить совсем, — сказал кондуктор и удивленно посмотрел на меня: как это живет на свете такой наивный человек, который думает, что может быть совсем отменен какой-нибудь рейс «баса».

Именно, разве можно!? Шестьсот лет так ходит. Как же можно отменять?! На один день и то вызвало много недоразумений и потребовало обсуждения в трех комиссиях.

Это не «бас», разумеется, ходит 600 лет, но жизнь Англии идет 600 лет по тем же традициям.

Другой раз о тех же «басах» писали:

«Окончательно решено сделать значительные изменения в рейсах с целью урегулирования уличного

движения. Теперешняя система во многих случаях способствует стеснению улиц...».

Я думал, что, действительно, какая-то реформа. Вместо одних улиц — пойдут по другим? Может быть вместо левой стороны пойдут по правой? Знаете, что сделали? В девяти местах (это на Лондон-то) передвинули пункты остановок саженей на десять...

Теперь я уже не ошибаюсь, когда читаю жирные заголовки о «реформах».

* * *

«Все парки запаханы в Англии», — писали за время войны, — «все свободное пространство утилизировано для огородов и посевов»...

Сейчас мы проехали верст 250 от Лондона до Брайтона, и обратно по другому пути, весь Surrey, — ни одного запаханного парка, вообще почти ничего запаханного, все — лужайки и площадки для футбола, для охоты, просто для ландшафта — для красоты и сельской поэзии...

Пусть там, в колониях, — в Австралии, в Новой Зеландии, в Малайских штатах, сеют; пусть Аргентина старается увеличивать посевную площадь, пусть Канада шлет хлеб, а здесь, в метрополии, англичане предпочитают организовывать и управлять... Здесь управляют и любуются ландшафтами.

В Брайтоне завтракали. Итальянец метр-д'отель ужасно обрадовался, точно старых друзей увидел, и добавил нам «специальное» сладкое — только для

почетных посетителей. Это оказалось — «клубника Мельба», десять шиллингов за порцию, а весь завтрак стоит 4 шиллинга; итого завтраки стоили 1 фунт, добавочное сладкое — 2 фунта 10 шиллингов...

По дороге обратно пили чай там, где его обязательно все пьют.

Как и двести лет тому назад, та же веранда и те же газоны, и те же сосны даже, и так же к чаю подают салат, варенье и молоко. И нам кажется удивительно: салат к чаю! А англичане удивляются, если к чаю спрашивают лимон.

* * *

Иные животные даже. Возьмите собак: ни одной дворняги, все собачьи принцы крови, все голубая кровь. Скоч-терьеры, похожие на медвежат, но в действительности — глубокомысленные философы, самые думающие собаки, самые самолюбивые и самые понятливые. Безносые пекинские спаньели — такие же фаталисты, как их родичи китайцы. Безучастно смотрящие на мир безносые японские спаньели, белые с черным, проникнутые расовой враждебностью ко всякой другой собачьей породе — как и сами японцы... Выродившиеся неврастеники той-терьеры, дрожащие от нервозности и в прохладную погоду, и в июльскую жару, жалующиеся каждому встречному на жестокое обращение с ними, хотя это — сплошная ложь.

Символы самой Англии — бульдоги с искареженной физиономией, высунутыми языками и оскален-

ными зубами; ужасно страшные, но вместе с тем очень добрые, никого не трогающие, кроме взрослых самцов своей же породы и кошек... Длинношерстые фокс-терьеры, родственники знаменитого благородного «Боба из Эдинбурга», которому там стоит памятник... Сплошь — собачья аристократия Берклей-и Гровенор-скверов.

* * *

Собак в Англию нельзя ввозить иначе как с 6-месячным карантином, и для того, чтобы отдать в карантин, нужно специальное разрешение министерства земледелия. Мы из Японии привезли на японском пароходе в Ливерпуль маленького «Джэппи» — японского чиня, потом ставшего знаменитостью. Как только показался маяк Land's End'а («Конца земли») — это первый маяк, который видят, подходя к Англии с юга Атлантического океана, — капитан парохода обязан был сообщить по радио, что на борту имеется собака, и нас долго не пускали в порт. А когда пустили, то пришло трое специальных полицейских наблюдать за Джэппи — (Джэппи весит 3 фунта) — как бы он не пробрался в Англию без карантина. Когда Джэппи стал собачьим гражданином Великобритании, он захотел участвовать в выставке. Собачьих выставок бывает в Англии в год около 50-ти; везде выдаются денежные премии. Джэппи пошел записываться.

— А паспорт его?..— спросили в секретариате выставки.

— Какой паспорт?!.

Объяснили, что в Англии раньше не требовалось паспортов для людей, но для собак паспорта были всегда.

— Но где же получить паспорт?

— Паспорта выдает Kennel Club — Собачий Клуб.

Собачьих клубов в Англии тоже полсотни. Одних бульдожьих клубов десятка два; отдельно клубы пекинской породы, терьеров, чиней и т. д.

Отправились в Kennel Club.

— А кто был отец и мать Джэппи?

— Джэппи родился в Японии; отец и мать его неизвестны...

А для паспорта требуется не только отец и мать, но даже бабушка и дедушка, даже прабабушка и прадедушка.

Оказалось, что Джэппи получить паспорт не может, но кто-то сказал, что особенное присутствие соединенных клубов Англии имеет право выдать паспорт и безродному песику, если будет установлено, что он аристократической крови, чисто-породный и вообще заслуживает особенного внимания. Так как Джэппи особенного внимания заслуживал, то его повели в соединенное заседание собачьих клубов, и 24 седых и благородных джентльмена-эксперта единогласно решили, что хотя он без роду и племени, бродяга и может-быть самозванец, но ему может быть выдан собачий паспорт Великобритании, и Джэппи паспорт выдали и распубликовали в «Известиях соединенного

собачьего клуба» — своего рода «Сенатских Ведомостях», — что такому-то Джэппи, привезенному тогда-то из Японии и по показанию свидетелей родившемуся там-то в таком-то году, — выдан собачий паспорт Его Королевского Величества короля Великобритании.

И Джэппи с тех пор участвовал в выставках, как полноправный собачий гражданин, и получил много призов, и стал чемпионом японских спаньелей.

* * *

Нигде в мире нет такой любви к животным, особенно к собакам, как в Англии. Можно ударить на улице человека — на это никто не обратит внимания, разве сам пострадавший ответит хорошим боксом, — но не рекомендуется тронуть собаку; сейчас же вступится любой прохожий, и обидчик окажется в участке.

Десятки обществ покровительства животным. Каждая пожилая дама — непременно почетный член такого общества, и она ходит от нечего делать по улицам, живя на свою ренту, и наблюдает, не обижает ли кто-либо бедных песиков.

Есть специальные приюты для больных и заблудившихся собак, для больных кошек.

Есть дамы, которые все свое свободное время, — а оно все свободное, — посвящают облегчению участи бедных собачек или милых кошечек. В центре Лондона, в Гайд-парке, имеется собачье кладбище и там стоят памятники с трогательными надписями, настолько трогательными, что даже либеральное английское

духовенство несколько раз заявляло протест по поводу их: там говорится о собачьей душе и встречах с нею в загробном мире...

* * *

Знакомая богатая англичанка ездила по Лондону и разыскивала небольшой, но хороший дом с большим садом. И первый вопрос ее был: как относятся соседи к собакам?

— Зачем вам дом? У вас есть свой особняк, такой роскошный.

— Это я не для себя... Это я для моих бульдожиков.

У нее 16 французских бульдогов. Она уже получила 248 наград на собачьих выставках и ищет дом, чтобы там поселить специально своих бульдожиков.

— Вы не говорите, пожалуйста, об этом другим, — тихо и ласково добавляла она. — Знаете, сейчас такое время, эти рабочие, эти большевики... Я не хочу, чтобы знали, что я ищу дом для моих бульдожиков...

И она же спокойно читает ежедневно в английских газетах, что люди принуждены ютиться в землянках, на лодках.

* * *

Фокс-терьер «Боб», принадлежащий бедной вдове, разорвал кому-то штаны. Тот обратился в суд. Судья вызвал, как это полагается, владелицу собаки и самого виновного — Боба. Какой-то свидетель показал, что

Боб вообще злая собака. Судья нашел Боба виновным (а для собак в Англии только одно наказание—смертная казнь), и несчастный Боб был приговорен к смертной казни, как собака опасная и вредная. Вдова обратилась к соседям, в особенности к детям местных школ, которые знали Боба. У дома вдовы были положены подписные листы, и в течение нескольких дней на них расписалось около 40 тысяч человек, удостоверявших, что они знают Боба лично, что Боб вполне приличная и добрая собака и что они ходатайствуют о помиловании его. Газеты писали об этом ежедневно. Была подана апелляционная жалоба; дело перешло в верховную инстанцию, было вызвано больше ста свидетелей, и жизнь Боба была спасена: приговор судьи был отменен. В этот день лондонские газеты продавались с большими плакатами:

«Боб спасен».

* * *

Не только так с собаками — так и с лошадьми, и с коровами, и со свиньями, и с кошками, и даже с курами.

Нет просто курицы, — того куренка, которого некуда выгнать толстовскому мужику, — а есть породистые легхорны, плимутрок, вайяндот, род-айланд и еще полсотни других чисто-породных кур; все «голубой крови», ни одна порода совсем не похожа на другую. Одни несут только темные яйца, большие,

но немного; другие — белые, маленькие, 250 штук в год. Одни куры — очень хорошие наседки, другие совсем не высиживают цыплят, и их можно разводить только с помощью инкубатора, и т. д.

Курам посвящено несколько журналов. Каждую неделю где-нибудь куриная выставка. За курицу из хорошего гнезда платят пять гиней и больше.

Известно, что только что вылупившегося цыпленка не следует кормить в течение 24 — 36 часов: его желудок полон еще желтком материнского яйца. На этом построена торговля однодневными цыплятами. Их покупают сразу, как вылупятся, в картонные коробки с дырочками, по 2 — 3 дюжины, и пересылают по почте по всей Англии.

Воспитывают таких цыплят в особых грелках, какую нетрудно устроить самому, — лишь бы им было где греться. Такие цыплята превосходно вырастают и чувствуют себя не хуже, чем с наседкой.

* * *

О жизни зоологического сада ежедневно статьи в газетах, и эти статьи читают с бо̀льшим интересом, чем самую серьезную политику, самые серьезные люди.

Однажды пингвин снес яйцо. Газеты поместили большие статьи. Через неделю пингвинша села на это яйцо, но муж ее, пингвин, все время сгонял ее, ему самому хотелось посидеть на яйце. В течение нескольких дней пингвин воевал с пингвинихой — кому сидеть

на яйце. Наконец, администрация сада сообразила; пингвину дали другое, поддельное яйцо, на которое он уселся и успокоился. Об этом газеты писали столбцы.

* * *

Никогда не делалось переписи кошек. Если бы сделать, то в Лондоне оказалось бы в десять раз больше, чем где-либо. В каждом доме есть обязательно кошка; если не у самих хозяев, то у кухарки, у горничной, неизвестно кому принадлежащая, но она гуляет по забору у дома и приходит в нужные часы на кухню есть.

Бульдоги и кошки ведут вечную войну, но я ни разу не видел, чтобы мальчишка на улице науськивал собаку на кошку. И собака и кошка — полноправные граждане.

В Риджент-парке живут на свободе белочки, много, сотни. Они настолько верят людям, что спокойно берут из рук орехи. Невероятно, чтобы кто-нибудь вздумал поймать белочку. Самый отъявленный хулиган не сделает этого.

* * *

Некоторые музеи только недавно открыты.

Война прошла, но организм нашей планеты еще отравлен ее ядами, и смрад еще стоит над землей...

Совсем новый отдел открыт в анатомическом музее при королевском медицинском колледже. Завоевания медицины на войне. Удивительнейшие операции.

Зашивание простреленного сердца, свинчивание сломанных костей винтами. Но особенно поразительны пластические операции лица. Раненому, у которого снарядом снесло все лицо, сделали 48 операций и в конце концов вылепили ему новое лицо... Вырезывали куски мяса из лба, с груди, и приращивали это постепенно на лицо, вернее на то место, где раньше было лицо. Человек вынес ряд этих мучительных операций и оказался вновь с лицом, хотя совершенно непохожим на то, которое было у него раньше. Челюсти были тоже разбиты в куски — их предварительно сшили золотой проволокой, добавили недостающие части.

Русские отделы в музеях печально бедны, беднее всех других.

Русские памятники древней письменности расписаны по разным другим народам, и России ничего не осталось.

В отделе графики Британского музея, в русском отделе, я наткнулся на курьез. Администрация вняла моим заявлениям и исправила каталог. Классификацией занимался «ориенталист», не знающий русского языка. Под буквами «Ф» значился художник «Федор», — в действительности это было, понятно, его имя, а фамилию не разобрали... Фамилии вносились в каталог по разному правописанию, один и тот же гравер распадался на три-четыре. Был, например, Пожалостин, Поялостин, Поджалостин — все одно и то же лицо, а здесь о каждом из них были особые биогра-

фические данные. Зато Чемесова, лучшего русского гравера XVIII в., совершенно не имеется. Ни слова о нем. Ни одной русской цветной гравюры; ни одной цветной акватинты или меццотинты. Хотя мало, но они все-таки были в России.

* * *

Англичане любят, когда о людях говорят хорошо. Злобствующие не имеют успеха в Англии. Добродушие, спокойный юмор... Добродушно дерутся; уже триста лет тому назад добродушно отрубили одному королю голову.

В речи оратора или судьи больше всего ценится шутка, «джок»...

Англия — страна тишины.

Всем известна тишина лондонского воскресенья. Только утром слышны нескладные оркестры «Армии спасенья» да звонят церковные колокола. Но их мелодичный звон не нарушает тишины, а подчеркивает ее.

Театры закрыты, даже зоологический сад закрыт.

Мертвый город...

В Шотландии в воскресенье даже смеяться громко неприлично.

После полудня говорят речи в Гайд-парке, но там тоже нет шума.

Когда входишь в лифт подземной дороги — в большую комнату, где помещается сто человек, —

слышно, как летает муха и как у кого-то бурчит в животе...

Это осталось в Лондоне.

* * *

Англия — страна молчания. Но это верно только отчасти.

В Шанхае у меня была учительница английского языка — сухая, сварливая и пожилая англичанка. Она все время говорила громким, скрипучим голосом. Муж писал из Англии, что он не советует ей возвращаться, так как в Англии теперь очень плохо. Я не удивлялся ему: другой на его месте стал бы уверять, что Англия вообще провалилась сквозь землю и что на месте Англии осталась дыра — лишь бы она не приехала...

Но зато какие есть и красавицы среди англичанок! Вспомните хотя бы лэди Гамильтон...

Женщины в 50 лет считают себя совсем молодыми, а в сорок — еще ребенок.

— Как она выходит замуж такой молодой!? Ей всего 42 года...

А если венчается пара, где обоим вместе 140 лет, это никого не удивляет:

— Да, уже не молодые, — говорят англичанки. Но никто не скажет — старые.

Пифагор заставлял своих учеников молчать пять лет для того, чтобы они научились думать. Кто не выдерживал, тот не мог думать.

Недавно в английском суде по просьбе мужа был дан развод, так как совместная жизнь была невозможна, столько жена говорила.

— Она заговорит меня до смерти, — серьезно жаловался муж на суде.

Даже в самой молчаливой Англии женщины говорят много больше, чем следовало бы.

В мире животных гораздо крикливее и шумливее самец — у людей наоборот.

* * *

В Лондоне всегда были грязные руки, но необычайно чистые цилиндры. Это осталось только наполовину — грязные руки. Сделан маникюр, по всем правилам, а руки сами грязные. При лондонской саже действительно трудно иметь чистые руки, — но тут это особенно подчеркнуто, известного рода спортивность. Чистые перчатки поверх грязных рук — это нередко... Ботинки изыскапные, а руки грязные и без перчаток...

* * *

Аукционы существуют во всех больших городах, но нигде нет подобного аукциона Лондона. В одном Лондоне аукционов больше, чем во всем остальном мире. Так же, как персидских ковров, которых в Лондоне больше половины всего земного запаса. Кто-то тоже подсчитал, что люди, живущие в Лондоне, в параллелограме между Гайд-парком, Пикадилли, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит—владеют имуществом пол-мира!

На аукционе в Лондоне можно купить решительно все, начиная с именья, дома и кончая произведениями искусства, самыми дорогими, самыми редкими «униками», и породистыми курами, и старым платьем.

Во всех других городах успешному развитию аукционов мешают маклаки, торговцы-скупщики; они сговариваются и покупают по пониженной стоимости: один не набавляет против другого, а платит ему отступное. В Лондоне такие «блоки» невозможны. Лондон слишком велик для этого, сюда стекаются покупатели со всех концов света и всем сговориться нельзя. На интересные аукционы приезжают с континента, из Нью-Иорка, из Буэнос-Айреса.

* * *

Если развернуть «Times» или «Daily Telegraph», там есть табличка аукционов на данный день. Целый столбец мелкого шрифта, и каждый аукцион занимает одну строчку. И на каждом аукционе продаются сотни нумеров.

Есть десятки больших аукционных зал; некоторые существуют 100 — 150 лет. В конторе висит старая гравюра: «Аукционный зал такой-то в 1772 г.». И зала осталась та же самая.

Знаменитая зала — Кристи. Туда посылают дорогие картины, гравюры, редкостную старинную мебель, старое серебро. Обыкновенных вещей Кристи не берет, и если вещь попала на аукцион к Кристи, она уже пропущена через критику экспертов и за нее

кое-что порядочное уже выручится. Для самого покупателя продажа вещей у Кристи есть уже своего рода аттестация: дорожа своей репутацией, Кристи не берет всякую дрянь и подделки.

* * *

Торговцы художественными предметами скупают их в Европе по любой цене, лишь бы прима-примиссима. Везут в Америку и там продают в своих магазинах по еще более колоссальным ценам, платя еще 80 процентов ввозной пошлины. Но это верно только для действительных «уник», для вещей, у которых есть паспорт, подлинность которых неоспорима. Если за Тициана, подлинного, но без «паспорта», то-есть без указания, в каких замках он провисел столетия и от кого и к кому переходил, — если за такого заплатят 500 гиней, то за такого же Тициана с «паспортом» дадут 3.000. Самые большие знатоки могут ошибаться. А если известно, что вещь стояла в таком-то замке, висела на такой-то стене, на таком-то крюке триста лет — то сомнений не может быть.

В отделе графики Кенсингтонского музея я рассматривал папку цветных гравюр. Одна была совсем как новая репродукция, а не подлинная старая гравюра. К этому мнению склонялся сам хранитель гравюр. Но когда справились в каталоге, то оказалось, что она лежит в портфелях музея уже больше ста лет. Сомнений в подлинности не могло быть...

* * *

Купить ценный редкий фарфор на аукционе фарфора за бесценок почти невозможно: всегда найдутся несколько специалистов, которые не пропустят вещи действительно стоящей. Но бывает, что где-нибудь в провинции распродается обстановка дома. Там мебель, вещи домашнего обихода, картины, но фарфоровых вещей 3 — 4 номера, и специалист по фарфору туда смотреть не поедет, ему время стоит дороже. На таком аукционе можно купить редкую фарфоровую вещь за бесценок. Можно купить партию фарфора, все, что сложено в большом ящике — за полтора фунта, а потом одна маленькая вещица из этой груды может быть продана за 10 фунтов. Но нужно потратить много времени, на десяти аукционах впустую, пока попадется случай.

Есть любители, которые охотятся на такие вещи. Для них главное — не вопрос выгоды, а своего рода спорт. Они проездят по железным дорогам и в автомобилях 30 фунтов и потом на маленькой вещице при перепродаже заработают 10 и будут очень довольны своей удачей. Я не говорю о коллекционерах: из-за какой-нибудь Вустерской чашечки такого рисунка, которого нет ни в одном музее, он поедет и в глушь Ирландии, и даже на континент.

* * *

Англичане особенно любят свое, английское. Это у каждого народа, но у них в особенности. Превосходный фарфор с континента, старый, подлинный

ценится много дешевле, чем какая-нибудь подлинная вещь английских заводов, хотя этот английский фарфор много хуже. Здешняя глина дает слишком мягкую массу: английская чашка бьется при малейшем толчке. С технической точки зрения фарфор очень плох, но с точки зрения художественно-исторической, для англичан, он имеет особую ценность.

* * *

Удивительны аукционы книг. Есть аукционы, где книги продают массами, целыми ящиками, и тот, кто покупает, даже не видит, что там в ящике — некогда терять времени и смотреть. Такой ящик можно купить за 10 шиллингов, штук двести книг.

Есть следующий разряд аукционов, где книги уже каталогированы, каждая уже поименована и продают их по одной штуке или по несколько в номере. Тут цены доходят до десятков фунтов за номер.

Но есть аукционы первого разряда, в роде Сотбай на Бонд-стрит. Сюда берут книги только подлинно старые, не моложе XVIII столетия. Здесь продаются книжные уники. Об этих аукционах публикуется не только в английских газетах и журналах, а по всему миру, и сюда едут коллекционеры из Парижа, из Нью-Иорка, из Бостона. Громадных цен достигают книги XV столетия — начала книгопечатания. Особенно Кэкстоны. Кэкстон — первый английский печатник, современник Гутенберга на континенте. Подлинные Кэкстоны середины XV столетия продаются по тысяче

гиней маленький полуживой томик. Продавались по 8.000 гиней! Одна маленькая книжка! Недавно маленький томик Шекспира — одна из его трагедий, первое издание, номинальной цены 2 пенса — продан за 8.000 гиней... Экземпляр известной библии Мазарини был продан при мне за 9.500 гиней. О таких книгах, прежде их продажи, пишут целые статьи, им иногда посвящены в свою очередь целые книги...

* * *

Каталоги аукционов издаются, как роскошные издания, с факсимиле отдельных страниц, переплета, гравюр.

Собирание самих каталогов книжных аукционов тоже своего рода коллекционерство, и коллекции таких каталогов продаются за порядочные суммы.

Есть журналы, посвященные специально книжным аукционам. Там регистрируются точно цены, вырученные за книги, и в Европе, и в Америке.

Цены неизменно и правильно растут, из десятилетий в десятилетие. Торговцы смело платят шальные суммы.

Разумеется, такие редкие книги известны наперечет; каждому коллекционеру известно, сколько всего копий на свете — две, пять, восемь; в каких музеях или частных коллекциях они имеются, и если вдруг на рынке появляется еще новая копия, то это — событие. Доискиваются, откуда она взялась, и после долгой экспертизы специалистов устанавливается ее подлин-

ность или фальшивость. Целый том в триста страниц. Каталог аукциона «Plumbago». Будут продаваться в течение двух дней только «плумбаго», из коллекции такого-то.

Plumbago — «рисунки твердым свинцовым карандашом на бумаге, веллуме или пергаменте»...

Только ради аукциона напечатан этот солидный том с иллюстрациями. Будут выручены тысячи фунтов — иначе не стали бы тратиться на такой каталог. И каталог останется, как справочник.

— «Вы никогда не слыхали о плумбаго?.. Собирайте плумбаго, потом продадите и сделаете состояние»...

* * *

Интересно ходить по аукционам, чтобы наблюдать за людьми, которые охотятся на них. Мания, нежнейшая любовь. Иной раз полжизни коллекционер мечтает именно о данном томике, и тот день, когда он его приобрел, отмечается в его жизни, как событие.

Недавно вышло несколько томов воспоминаний таких коллекционеров — одновременно и в Англии, и в Америке. Они рассказывают о своих переживаниях. Совсем особенный мир переживаний. В такие переживания можно уйти настолько, что вся остальная жизнь мира отодвинется на задний план.

Из десяти книг одна непременно о птицах. На аукционах книг больше всего роскошных изданий с рисунками птиц.

Птицы Уэльса, птицы северной Англии, птицы всей Англии вместе... Одни утки Англии, одни певчие птицы, одни плавающие птицы. Орнитологическое наводнение. Целый том — трактат о каком-то одном виде коршуна: он таскает иногда кур и за это подлежал бы истреблению; но оказывается, что он преимущественно питается мышами и крысами, и сводка мнений лучших авторитетов (в Англии на все есть авторитеты) приводит к выводу, что мышей и крыс он съедает больше, чем кур, и приносит больше пользы истреблением первых, чем вреда истреблением последних, — поэтому его нельзя истреблять...

Другой том о том, какие кусты и деревья надо сажать для данного вида птиц; какую птица любит травку, какой рельеф местности и в какой цвет надо красить заборы.



Многие знают книжку Джека Лондона «Зов Зверя», но до сих пор не переведена на русский язык удивительная книга Кэрвуда — «Казан». Тот же сюжет, но Казан выше «Зова Зверя». Замечательная книжка. Такое глубокое знание жизни севера (Канады), жизни животных. Там, где автор думает за животных, фантазия поразительно жизненна, так именно и должно быть, так только и могут думать собака, волк, бобер, если они вообще думают... И, прочтя эту книгу, знаешь потом наверно, что они думают; начинаешь любить их, понимать их.

Если надо писать воспитательные книги, то именно так надо писать.

Казан полусобака, полуволк. То в нем больше волчьего инстинкта, то больше собаки. И, когда больше собаки, он бежит к собакам и людям, потому что ему тоскливо одному. Он идет на побои, видит безжалостный кнут в руке человека и все-таки не переносит одиночества... Человек рискует жизнью, чтобы уйти из одиночества: самое страшное для человека — одиночество. Об одиночестве, которое возвышает, пишут для других, а сами идут к людям.

* * *

В культурной Англии большинство «культурных» людей полагает до сих пор, что Христос был действительно сыном божьим. Об этом пишутся трактаты, большие «научные» книги, и идет горячий спор, нужно ли попрежнему забивать этой галиматьей головы детей, и большинство еще на стороне тех, которые думают, что нужно... Не в средние века, а в наше время люди еще спорят об этом.

Можно не знать тригонометрии или астрономии и быть культурным человеком; но нельзя быть культурным человеком и спорить о том, был ли человеком или богом Иисус Назарейский, Иошуа-бен, Иошуа — по древне-еврейски. Есть норма, ниже которой итти нельзя, есть известный минимум для права называться культурным.

Одни верят в какую-то иную жизнь после этой, земной, другие — не верят. Научная логика говорит, что другой жизни нет. То же говорят и факты:

никто и никогда не пришел оттуда. Никаких реальных признаков того мира или миров; только наше непобедимое желание верить, что не все кончается со смертью, дает право говорить об этой иной потусторонней жизни, о перевоплощениях и т. п.

Не о дантовом аде, конечно... Едва ли есть у человечества второе, столь узкое, ограниченное произведение, признанное великим столь безосновательно?!

Но все-таки и культурный человек может еще верить в жизнь иных миров и в то, что мы снова родимся там может-быть. Много больших людей умирало и умирает до сих пор с надеждой на какую-то жизнь за гробом... Дело вкуса.

Но верить в то, что бог послал на землю своего сына; верить в то, что у одного маленького древнего народа, у старого плотника, потерявшего уже половую способность, от молодой его жены родился бог (зачем была такая двусмысленная комбинация для рождения бога?) — даже детям не укладывается в голову такой рассказ... Однако им живет еще добрая доля современного культурного человечества, многие лучшие умы.

* * *

Англичанин уверен, что самая умная книга в мире — библия... Ни единого момента в этом не усомнится. Если указать ему на явный абсурд или противоречия в этой книге, он тотчас без доли сомнения ответит:

— Мы не так это понимаем... только потому это кажется абсурдно...

Конституцию может изменить какой-нибудь ирландский вопрос, но библию ничто не изменит.

Крупные государственные деятели Англии и знаменитые ораторы ссылаются в своих речах на библию. Нигде библия так много не цитируется, как в Англии. Самый спокойный и терпимый к мнению другого англичанин способен рассердиться, если при нем начать непочтительно отзываться о библии.

«Хартия Вольностей» Иоанна Безземельного оказала меньше влияния на склад политической жизни Англии, нежели библия. Есть люди неверующие, неходящие в церковь, но библию они все-таки читают.

Когда Черчилль был назначен морским министром Англии, он раскрыл библию и посмотрел, какой стих вышел, — по его содержанию он решил, как он будет управлять величайшим флотом мира!..

Он сам рассказывает об этом в своих мемуарах.

Христианство тесно связали с культурой. 999 из 1000 культурных людей и сегодня еще думают, что без христианства не было бы современной культуры...

Задерживало или двигало культуру христианство?

Задерживало. И во всяком случае умеренный, здоровый климат Европы — фактор гораздо более важный...

Мысль современного человека еще барахтается в паутине религии. Взрослые культурные люди играют в лошадки и ездят верхом на палочке... Мир еще в детском возрасте... Откуда взяли, что он старый?..

* * *

В литературном обзоре «Таймса» объявление — «Словарь языка Пали, 3-е издание, $4^1/_2$ гинеи». В обзоре упомянуто, что издание очень кстати. Первые два издания давно распроданы.

Найдутся три тысячи человек, которых интересует словарь «Пали» и которые могут заплатить за него $4^1/_2$ гинеи!..

В каждом недельном обзоре несколько книг по 5, 6, 10, 20 гиней, и все они распродаются.

Я прочел как-то, что вышла книга Бэддлея — «Россия, Монголия, Китай» — «Историческое исследование о сухом пути в Китай по русским источникам».

Меня заинтересовало. Пошел покупать, но показалось дорого: 12 гиней. Два тома без переплетов, несколько карт, никаких других иллюстраций, половина текста по-русски.

Ходя потом по лондонским книжным аукционам, я ждал, наверно будет продаваться за дешевку Бэддлей; кому нужны русские документы о пути в Китай через Сибирь за 120 рублей золотом!.. Наконец, нашел — будут продаваться два экземпляра Бэддлея сразу. Решил дать до двух фунтов... Оба экземпляра были проданы по 16 фунтов... Уже из чисто спортивного интереса на завтра я поехал к издателю книги: как можно платить 16 фунтов за подержанный экземпляр на аукционе, когда у издателя новый стоит 12 гиней (12 фунтов 12 шиллингов)... Но у издателя ни одного экземпляра не оказалось — все издание распродано в восемь месяцев.

Я тут подумал:

— Пусть на моей могиле положат камень с надписью:

«В следующем воплощении желаю быть англичанином».

Но потом передумал: пока придет следующее воплощение, русские книги будут иметь бо́льший тираж.

* * *

По шальным ценам можно продать только уник. Вещи среднего художественного достоинства идут часто за бесценок, и в Лондоне их можно купить дешевле, чем где-либо.

Какую бы мудреную вещь ни привезли, всегда найдутся специалисты, которые оценят ее действительную стоимость. Специализация дошла тут до максимума.

Есть специалисты манускриптов, но они мало понимают в новых книгах и даже в старых печатных книгах. Их дело только писаный манускрипт.

А другой специалист только по иллюминованным манускриптам, украшенным цветными виньетками и рисунками. Но зато его мнение решающе. Ему нужно только взглянуть на манускрипт, чтобы сказать, что это итальянская работа XIV века. Он свой век просидел на манускрипте, и мир для него наполовину, если не больше, состоит из манускриптов...

* * *

У меня было несколько десятков старинных монет, золотых и серебряных; большинство настолько стертых, что еле виден был рисунок чеканки. Я хотел разобраться сам. Рылся в нумизматических справочниках, но ничего не добился. Пошел в аукционную залу, где специально продают монеты. Попросил их специалиста посмотреть. Тот высыпал монеты на стол, посмотрел несколько секунд, отодвинул две из них:

— Это экю 1720 г... Это гинея, чеканенная для Гвианы в 1690 г... Эта стоит два фунта, эта стоит четыре с половиной—пять фунтов. Остальное «раббиш» (дрянь)...

Другой раз я повез несколько десятков фарфоровых вещиц, которые я считал редкими. Письменно назначили свидание с экспертом по фарфору: сразу к нему не попадешь. Специальный рабочий раскрыл чемодан, выставил все на стол. Пришел специалист. Минуту он смотрел на все расставленные вещицы, потом взял в руки три из них, одну поставил обратно, одну довольно долго рассматривал на свет и под увеличительным стеклом и потом вынес приговор:

— Это настоящая китайская тарелочка для пикулей, династии такой-то; за нее можно выручить фунтов двадцать... Это старая фигурка Бау (название английского фарфора). За нее дадут фунтов пять... Остальное ничего не стоит...

Иначе говоря, остальное они не могут принять на свой аукцион, ибо берут только ценные вещи.

* * *

Большие аукционы вина бывают в Сити. Там продают бочками, десятками бочек, сотнями. Это мало интересно.

Гораздо интереснее аукционы вина и сигар на Бондстрит или в Бау. Тут продают по несколько бутылок. Распродаются погреба частных лиц, ликвидируются винные магазины или невыкупленные в таможне.

Столы покрыты зеленым сукном. Кругом сидят люди. На столах сыр и «крэкеры», такие, какие надо есть с сыром. Мы потребляем пищу иногда в случайных комбинациях. В нашей еде нет вековых традиций: в Англии со времен Иоанна Безземельного известно, что, с чем и как. Даже раньше, со времен короля Артура и Рыцарей Круглого Стола.

Сыр нарезан кубиками. Мы в России резали тоненькими ломтиками — это неправильно, просто оскорбительно для хорошего сыра...

Сыр и «крэкеры» — бесплатно всем присутствующим. Из каждого сорта открывается бутылка, и всем предлагают пробовать. Все пробуют — десять сортов, двадцать, тридцать, начиная с красных вин и до коньяков включительно. Физиономии краснеют, но никто не пьян... Рабочие аукционной залы разносят и допивают что остается в бутылках. После тридцатой пробы наливают в донышко опрокинутой рюмки, кое-что переворачивают, движения приобретают волнистость, но ничего не бьют. Это только содействует веселому настроению покупателей и даже самого аукциониста. Тихо, весело и изысканно прилично.

Всякий может прийти на такой аукцион и напиться quantum satis. Но никто такой не приходит — только те, кто действительно будут покупать. Хотя никто не помешал бы прийти каждому. Есть какие-то сдерживающие начала.

* * *

Сигары продаются только гаванские. Кофе пьют только из кофе. На цикорий запретительная пошлина.

Если Германия страна эрзаца, суррогата, подделки,— то Англия страна ультра-настоящего.

Но, чтобы покупать самое лучшее и самое настоящее, нужны настоящие деньги. А они есть не везде... Раньше мир делился на континенты, расы, нации, народности. Теперь мир делится на высокую и низкую валюту. Есть высшая и низшая каста человечества, люди с высокой валютой и люди с низкой валютой.

* * *

По всей Японии я лазил по музеям, лавчонкам, выставкам, частным коллекциям, чтобы изучить японскую гравюру. Но только поселившись в Лондоне, побывав в здешних музеях и частных коллекциях, я увидел лучшие образцы этого искусства. Здесь они выбраны и отсортированы из массы хлама. Здесь эти гравюры кажутся несравненно художественнее и ценнее для мирового единого искусства. Сами творцы этих гравюр не отобрали бы как лучшее то, что отобрано в лондонские музеи.

Лучшие японские деревянные гравюры хранятся в Лондоне, а не в Токио или Киото.

Лучший японский лак тоже в Лондоне. И слоновая кость тоже.

Лондонские музеи самые богатые в мире, за малыми исключениями.

* * *

Английские спички. Есть восковые английские спички с красной головкой, которые чиркаются о подошву собственного ботинка—это второй сорт; а есть те же спички с коричневыми головками, для любителей, — те чиркаются обо что угодно и трещат при чиркании, что очень нравится любителям. А потом эти большие, толстые, солидные деревянные спички, звенящие, если потрясти в руке!.. Они по средствам только англичанам.

Даже в спичке англичанин хочет получить некоторое удовольствие.

Я часто разговаривал с хозяином маленькой курятной и рыбной лавки в нашем квартале. Он ходил всегда в жилете без пиджака, в переднике, с грязными руками, и постоянно с сигарой в зубах.

— Хорошая сигара, — сказал я как-то.

— Да... я дешевле полкроны не курю, — ответил он.

А у Harrods'a продают сигары по 7 шиллингов штука, и в день расходятся две-три коробки, поштучно...

* * *

В таверне «Белой Лошади» продается специальное виски. Еще у Диккенса упоминается эта таверна.

Есть таверна «Белая Лошадь» и есть виски «Белая Лошадь». Я познакомился с хозяином этой таверны и пришел к нему около 12-ти часов дня, когда он готовит свой знаменитый напиток. Ему принесли два больших ведра полных виски. Он вынул из шкафа большую грязную бутылку с чем-то в роде чернил и влил полбутылки в одно ведро, полбутылки в другое. Потом большой метелкой размешал все это. Взял в стакан смесь, посмотрел на свет и сказал:

— Хорошо...

Эта прибавка к виски какой-то черной мерзости и есть секрет «Белой Лошади». Своим виски «Белая Лошадь» знаменита 180 лет.

— Что это в бутылке?

Он хитро улыбнулся, подумал и потом сказал неожиданно правду; правда была так проста, что никто в нее не поверит, не мог же быть так прост секрет «Белой Лошади»:

— Это просто краска для цвета... Когда виски темней, то выглядит крепче... всем нравится, — хитро улыбнулся он.

Это секрет «Белой Лошади».

* * *

В России в былое время, если нужно было произвести ремонт в доме, то звали какого-нибудь Петрушку

или Тимошку, и он заделывал дырки в полу, клеил обои, белил потолок, чинил замки, вставлял стекла...

В Англии мне нужно было перестлать ковер на лестнице. Один специалист снял ковер и отправил его на завод для выбивания к второму специалисту; третий специалист починил два медных прута; четвертый специалист вставил выпавшее из каменной ступеньки медное ушко. Когда я спросил того, который чинил прутья, отчего он сам не починил ушко, тот даже удивился — он работает только по меди, а ушко вставляется на свинце. Еще один специалист понадобился, чтобы зачинить ковер. Итого — снятие ковра, его чистка, починка двух прутьев, вставка ушка и постилка ковра на место стоили 7 фунт. 10 шилл.

Но зато, если что-нибудь делают, то делают основательно. Перестилали недавно мостовую на Оксфорд-стрит. Бетон толщиною в полтора фута выламывали, потому что он в некоторых местах стал рыхлым. Это выламывание старого бетона стоило дороже новой торцовой мостовой, какая была у нас в Петербурге. Выломанный старый бетон отвозился и клался новый, сверх него торцы, пропитанные креозотом, и поверх еще слой гудрона. Такая мостовая, при самой усиленной езде, будет стоять 50 лет. Но чего она стоит?

* * *

В Англии мало ограничений для иностранцев, почти совсем нет. Делай что хочешь, никто не мешает, городовой не приходит. Но чужому, не англичанину,

делать что-либо трудно, очень трудно, труднее чем где-либо.

Странно: никто не мешает, никаких ограничений, а делать трудно?.. Сколько, хотя бы русских, в последнее время начинали, затрачивали до последнего и прогорали. И как будто мысль, расчет были правильны...

Почему?

Трудно понять, почему. Какое-то скрытое противодействие; молчаливое, никем не высказанное, что-то в роде бойкота...

Это с одной стороны.

С другой — давление больших капиталов, капиталов в фунтах. Самая большая единица в мире — фунт, и будто в таких единицах деньги сильнее давят!.. Давление традиций, давление инерции: конкуренты торгуют уже сто лет, полтораста лет, триста лет. Как будто все в новом предприятии лучше, а идут по инерции к старому: через маленькие двери идут во второй двор, во второй этаж и проходят мимо шикарного зеркального входа с улицы...

Когда знаменитому мошеннику Америки Уолингфорду понадобился «честный адвокат», он пошел туда, где нет большой медной вывески, контора с протертой и покривившейся мебелью, закопченными стенами. Этому он научился от англичан...

В Англии надо, чтобы дед и прадед торговали этим же товаром, на этой же улице и даже в этом же доме — тогда будут покупать. Иначе пройдут мимо.

* * *

Сейчас я читал отчет фирмы «Братья Ливер». Они делают мыло и маргарин.

«Братья Ливер» получили в 1923 году прибыли $4^1/_2$ миллиона фунтов!

«Основано в 1747 году», говорится в проспектах. Хорошенький деловой опыт, достаточная образовалась инерция; достаточное протекло время, чтобы накопить «запасные», «резервные», «чрезвычайные», «экстраординарные» и еще какие угодно капиталы.

Чтобы делать свое мыло, «Братья Ливер» завели громадные плантации кокосовых пальм в Бельгийском Конго, в Нигерии и других колониях Западной Африки, даже на Соломоновых островах, у каннибалов...

Попробуйте конкурировать с таким делом.



Или вот еще другой — фабрика мороженного; маленькие общедоступные ресторанчики Lyons. Самая дешевая еда в Лондоне у Лайонса. В среднем входящий в ресторан тратит меньше шиллинга. Мелочная торговля! Но по обороту, по получаемой прибыли, по совершенству организации Лайонс одно из лучших дел в мире...

Ресторанчиков у Лайонса триста. Везде одна отделка, белыми изразцами, один шрифт, одна форма у подающих девиц, одинаковые мраморные столы, одинаковая прочая мебель... Все ресторанчики на самых бойких местах — в Лондоне, в Манчестере, в Ливерпуле, в Глазго. Много собственных домов.

Громадные пекарни, прачешные. Свои склады чая, свои холодильники, автомобили, вагоны, специальные пароходы, чтобы возить мясо из Австралии или Канады, или яйца из Египта, или чай со своих плантаций на Цейлоне...

Колоссальные пекарни устроены так, что в одном конце сыплют муку, а в другом выходят готовые булочки: рука человека не прикасается ни разу, все машина: машина точно знает, когда булочка готова и надо вынимать из печки.

Организация контроля в этом сложнейшем деле считается совершеннейшей: говорят, что если из парохода яиц одно будет раздавлено, то директор фирмы точно будет знать, когда и где оно раздавлено и кто виноват в этом...

* * *

Так во всем в Англии. Везде сидят какие-нибудь братья Ливер, или Лайонс, и они давят маленькое предприятие, даже не заботясь об этом, автоматически. И иностранное в особенности — тоже автоматически.

И все-таки непонятно.

В Америке тоже давление чудовищных глыб капитала, но там чужой устраивается значительно легче...

Японцы в последнее время выжимали от себя иностранцев. В Японии велся открытый бойкот всякого не японского дела. Выжали всех... Кроме англичан.

* * *

Я верил в Англию, кажется, больше, чем сами англичане. (Я только там держал всегда свои деньги!..)

Но происходит что-то небывалое, невиданное, неслыханное. Начинают шататься традиции веков, здания, стоящие на скалах, дают трещины...

Что происходит?

Аксиомы старого мира перестали быть аксиомами. Старый мир дал трещины.

Треснувшая стена может еще долго простоять или может рухнуть вдруг, неожиданно и все похоронить под обломками...

БЕРЛИН.

Мы ехали в Баден-Баден.

Почти все действие тургеневского «Дыма» происходит в Баден-Бадене (в 1862 году).

Тургенев писал о нем даже стихами (хотя и не особенно удачными):

Покинув град Петров, я в Баден поспешил
И с удовольствием там десять дней прожил...
...Недельки через две лечу я снова в Баден,
Там травка зеленей и воздух там прохладен...

В 1866 году Гончаров писал из Баден-Бадена:

«В Баден-Бадене я провожу время приятно, потому что нашел там Тургенева, Боткина, вашего соседа, и много других знакомых».

В Баден-Бадене жил Достоевский, и бабушка его «Игрока» там проигрывала свое состояние. Хотя названо у него — Рулетенбург.

Нарочно поехали днем, чтобы видеть Германию в этой части. Часа четыре плоско, однообразно. Ничего интересного. Началась Тюрингия. По карте скоро полагается Веймар. И, действительно, вдруг

сразу поэтичный уголок. Скала. На скале замок, может быть, трактир, но все равно, выглядит как принято. Журчит река, окрашиваясь в белое на камнях. Деревья карабкаются по скале.

Вот Веймар!... Тут жил когда-то Гете!...

Проехали часа полтора. Остановка. Оказывается, это Веймар! Но это ошибся не я. Ошибся Веймар: он должен был быть там, в этих скалах, а тут плоская, некрасивая местность, и совсем трудно тут было Гете вдохновляться.

* * *

В третьем классе битком набито, во втором пусто. Первый имеется только теоретически — для сумасшедших и наглых иностранцев, но иностранцев больше нет. Сначала было совсем пусто в нашем купе, потом сели двое. Сидели долго молча, насупившись. Потом вдруг один увидел наклейку на моем чемодане:

«Иокогама, Ориенталь-Отель» — и сразу из молчания, без всякого подхода:

— У вас нет почтовых марок?

Я сразу не понял. Но тоже посмотрел на наклейку чемодана и тогда понял: каждый немец собирает почтовые марки. Я обещал выслать и взял его адрес.

Долго думал об этом его вопросе, думал и удивлялся.

Надо еще прибавить, как они вошли в купе.

На одной из остановок в дверь просунулась голова и спросила:

— Эти места свободны?..

Не слыша еще моего ответа, вторая голова, по-немецки наголо остриженная с боков, сунулась в ту же дверь и заявила решительно:

— Свободны... свободны...

точно желая предупредить возможность лжи с моей стороны. Оба влезли в купе, не услышавши моего ответа. Вышло угловато и незаслуженно оскорбительно. Возможно ли после такого начала, без всякого нового смягчающего обстоятельства, обратиться к человеку, в первый раз в жизни встреченному, и прямо из демонстративного молчания спросить:

— У вас нет иностранных марок?..

* * *

Понятно, я марок не послал.

Но осталась в голове мысль об «Ориенталь-Отеле». Вспомнил, как однажды вечером, только-что выпили 5 часовой чай (хочешь не хочешь — все пьют, потому что включен в цену) и после того, как съели возмутительное количество жирных тортов и пирожных (нигде так не обжирались, как в «Ориенталь-Отеле», он славился на весь восток) — вдруг зашумело. Я уже знал, сразу догадался — землетрясение!.. Отель стал качаться. Где-то что-то упало, еще — в другой стороне. Многие бросились на улицу. Я тоже, но тут же подумал:

«Ведь 18 лет стоит, и землетрясения бывают два раза в неделю, и не упал до сих пор. Не упадет же как раз, когда я тут...».

Все-таки так качалось, что было жутко и удивительно, что здание не падает. Оказывается, до падения ему было совсем не далеко, хотя и восемнадцать лет стояло.

Теперь — в сентябре 1923 года — Ориенталь-Отель упал первым. Страшно думать, как это все повалилось, посыпалось, загрохотало — и через полминуты, так пишут мне очевидцы, была только груда мусора, тучи пыли и трупы.

Первый толчок был в 11 часов 50 минут дня, толчок как толчок, как всегда бывает, и никто не испугался, никто не побежал. Накрывали как раз к завтраку, всегда такому обильному и вкусному тут. Уже все было готово... Японские бои мягко сновали по большой столовой среди столиков и расставляли вазы с фруктами. На них шипели два маленьких метрдотеля, японцы; один из них должен был выйти в двенадцать во внутренний холл и ударить в большой гонг.

— Все готово... Пожалуйте есть, знатные иностранцы с деньгами!

Но через две минуты, в 11 час. 52 мин., качнуло сильнее, новый удар, и еще... и еще; здание начало раскачиваться, как в круговороте, и еще через несколько секунд рухнуло с страшным треском, рухнуло и похоронило — и боев, и метрдотеля, и поваров, и хозяина, и всех, кто успел уже прийти к вкусному завтраку, и рикшей снаружи, рядом с отелем, в тесном переулке. Рикши курили в это время маленькие трубочки с горошинкой японского табаку, готовясь снова бежать

по первому зову, и переругивались. Эти крохотные трубочки — единственное их наслаждение. Еда не бывала для них наслаждением. Рис, рис с соей, день-изо-дня, съедался наскоро; глотали, как голодные собаки, не чувствуя вкуса. Половых наслаждений у них тоже не было. Повозивши целый день тяжелых, жирных белых людей, не подумаешь об этом, и жена старая и злая, жесткая и колючая от работы...

* * *

Я сижу на дорожке парка у отеля Стефани и стараюсь понять, почему Баден-Баден считается одним из первых курортов в мире. Понять легко. Место превосходное. Красивая панорама, климат мягкий, на несколько градусов теплее окружающих местностей. Ночи влажные, поэтому нет пыли, и поэтому же такая яркая, веселая, радостная зелень. Теплые целебные источники. Мягко журчит Оос.

Еще римляне ездили в Баден-Баден и звали его Aqua Aurelia.

Мимо прошла по дорожке пара. Он обрюзглый, кончающий жизнь, сгорбившись, с палкой — еле идет; она такая же, уже совсем не женщина, а просто живое существо. Оба идут вдыхать что-то лечебное в ингаляторий. Утром брали теплые ванны; гуляют по расписанию, хотя гулять им тяжело. Борются за жизнь, цепляются. Всякая жизнь, даже такая, видимо, хороша,

иначе так не хватались бы за нее, не прятались бы от смерти с такими ухищрениями.

Вот еще пара. Из Гомель-Гомеля приехали в Баден-Баден. Миша — он так и по паспорту «Миша», а не Михаил; так напечатано в «Курортных Известиях». Миша сделал поставку советскому правительству и потом заработал на девизах в Берлине и привез Розочку в Баден-Баден. Отчего же и им не пожить в Баден-Бадене?! Не виноваты же они, что такие смешные и наглые. А разве римляне не были наглые?! А разве они не занимались спекуляцией?.. Авраам и тот имел экспортно-импортную контору, как выяснено недавними раскопками в Месопотамии. А какие штучки проделывал Иаков с Лавоном?!.. Прочтите в библии...

Миша живет с Розочкой в отеле Стефани, а русские монархисты с громкими фамилиями и десятками тысяч душ, со «славным, блестящим прошлым», — в третьеклассных отелях: и их роскошные виллы проданы...

А тут было много русских роскошных вилл: вилла Меньшикова, вилла Гагарина, вилла Стурдза-Кантакузен. Целые богатые усадьбы. Ездили сюда с многочисленным штатом рабов. Построили церковь, чтобы батюшка молился за них перед господом богом, чтобы тот не сердился, что порют рабов и насилуют девок.

В вилле Гагариных — манеж, в вилле Стурдза — модная мастерская; в вилле Меньшикова живет какой-то другой Миша, не русский.

Физиономия Миши розовая, самодовольная, лоснящаяся, наглая, смотреть на него тошнехонько.

Пусть и Миша поманежится, пусть выпьет в Баден-Бадене полагающееся ему количество шампанского, съест положенное количество руанских уточек и выкурит полагающееся количество гаванских сигар, — он других не курит, — а Розочка — только папиросы «Кроне Бачари».

Миша пошипит, пошипит и лопнет, как пузырь на кипящем котле. Нельзя кипеть котлу без пузырьков, котлу истории, где варятся права на наслаждение жизнью.

* * *

Баден-Баден — большая богатая помещичья усадьба. Живописные окрестности, на редкость живописные, самая красивая часть Германии — Шварцвальд. Горы, горы. Ниже, чем в Тироле или Швейцарии, но радостнее.

В Бедекере сказано — «местные жители по воскресеньям ходят в национальных костюмах». Мы перерезали весь Шварцвальд, и было воскресенье, и не видели ни одного национального костюма. Вообще гуляют только мужчины, а женщины в праздники заняты специальной праздничной работой; той, которая именно полагается по расписанию: воскресенье — работа для отдыха...

Путеводитель хорошо читать после поездки. Узнаешь точно, чего не видел; сколько метров высоты та гора,

где пили кофе; как называется каждый городок из сотни проеханных и сколько в каждом жителей, и какой маркграф в нем жил, и где он похоронен, и где маркграфиня, и за кого вышла замуж их дочь.

* * *

Нас в автомобиле было двенадцать. Я все подсчитывал, что бензин стоит больше, чем вся плата за проезд со всех двенадцати.

Ехали два молодых немца. Они не заплатили денег даром. Каждую вершину они находили на карте и отмечали в книжке, сколько метров в ней высоты. Одной вершинки из 170 не оказалось на карте, и шофер не знал; это очень их взволновало... Это значит путешествовать не зря. Все время боялись пропустить какой-нибудь вид слева, справа или сзади; все время ерзали на своих сидениях и отвлекали вопросами шофера, и я все ждал, когда же полетим в обрыв — автомобиль и двенадцать человек...

* * *

Дорога достаточно широка, но жутко смотреть вниз, ничем неотгороженная пропасть. Невольно отстраняешься; кажется, что очень опасно... Поставьте на краю дороги бумажный забор. Он нисколько не увеличит безопасности езды: его можно повалить одной рукой; но не видно пропасти, и будет казаться совсем безопасно, не будет никакого страха.

Однажды меня застала в поле гроза. Я сначала побежал, потом остановился. На меня напал панический страх. Мне казалось, что непременно убьет. А опасность была ничтожная... Ничего в окрестности не разрушило, не сожгло, никого не убило. Разряды были в воздухе, и я тогда же понимал это, судя по расплывчатым вспышкам; я знал, что, когда бьет в землю, тогда бывает видна зигзагообразная линия...

В другой раз я сидел в кафе, на главной улице Сант-Яго в Чили. В кафе было полно, оживленно, играла музыка.

Началась гроза. Такой сильной грозы я никогда не видал... Молния блистала одновременно с сухими взрывами грома, била где-то поблизости: почти всякий раз был виден голубой зигзаг от облака в землю. Это была очень опасная гроза.

Через улицу на углу тоже было кафе, и там тоже сидели люди, и тоже играла музыка.

Вдруг блеснул яркий, режущий зигзаг, что-то взорвалось, оглушило, кто-то закричал, и кафе напротив загорелось. Молния ударила в него, в один из столиков, за которым сидел смуглый испанец и платил деньги лакею итальянцу, собирался уходить. Испанца убило, итальянца оглушило, а деньги вплавились в мраморный стол...

Пожар потушили. Убитого увезли. Я видел самый удар, видел убитого, видел монеты, вплавленные в стол. Я был совсем недалек от опасности, но никакого страха

не было, абсолютно никакого. Ничего, кроме любопытства.

Толпа и музыка заслонили опасность. Как бумажный забор.

* * *

Едем мимо картофельного поля.

— Картофель!.. Смотрите, картофель, — удивляются немцы.

Германия питается картофелем, но на рынках его нет.

Берлинский «шибер», делавший поставки во время войны и торговавший германскими марками, ест гуся в 8 долларов и ананасы. Ананасы можно везде достать, а картофеля нет.

В Германии едят много, но всегда голодны. Предложите гостю есть тотчас после его обеда, и он с большим удовольствием согласится.

За все двести километров встретили два автомобиля и две мотоциклетки. Это не Америка. Зато на каждом шагу кресты. Что ни поворот — то крест с распятием. Есть и костелы, но много меньше. Крест построить гораздо дешевле, чем костел, и, построивши, в него не надо ходить, а результат тот же. Сказалась немецкая практичность.

Какой-то городок. Совершенно не важно, как он называется. Все похожи один на другой, как замки одной и той же фабрики, только вырезы для ключа с разными зазубринами.

Один слева от гор, другой справа; в одном два костела, в другом — один...

* * *

На каждый частный дом две гостиницы. Когда нет приезжих, местные жители живут в них сами.

«Гостиница Ангела», «Гостиница Золотой Звезды», «Гостиница Золотого Креста», «Гостиница Трех Королей», «Гостиница Маркграфа».

Живо еще почтение к небесному и царственному. Консервативная часть Германии, и даже не часть Германии, а Баден-Баден сам по себе. Баденские флаги видишь чаще, чем обще-германские. Шовинизм приводит к абсурду: Германия, Баден, баденская деревня, два дома в этой деревне...

* * *

Из Бадена все ездят на Mummel See, русалочье озеро.

Озеро в горах, на высоте версты. Автомобиль еле карабкается. «Муммель», «муммель»... В звуках есть свое очарование, своя мистика — на этом построена поэзия. То таинственное что-то в слове, то смешное, то властное, в самом его звуке, понятное и для незнающего язык. Муммель — что-то сказочное...

«Муммель» гораздо лучше выражает понятие — «русалка»... Ночь, слышное только одному пение, чары, холодные ласки, холодная смерть...

На черном озере живут четыре белых утки. Затонуло две лодки. Может быть, нарочно затопили, чтобы усилить мистичность? Ни одного объявления и ни одной надписи «ферботен»: совсем невероятно, противоестественно для Германии — ничего не запрещено на озере «Муммель»...

Муммель — сказка.

Уже едешь на это странное озерко с ожиданием сказки. Если бы сказки были иногда действительностью, то прежде всего — здесь.

Камни в нарочном беспорядке навалены к самой воде, чтобы не пройти. Может быть, тоже нарочно навалили для привлечения легковерных, дешевых туристов (в Германии туристы дешевые). Нет, сама природа, никого не спросивши, нужно ли это.

Кругом густой черный лес. Деревья все-таки нашли щелки среди камней и медленно, но упорно растут.

Мох, лишаи и папоротники блаженствуют в вечной сырости. Туман уступает солнцу только на несколько часов. Прямым лучам доступа нет никогда.

Самое долговечное в живой природе — деревья. Но смерть приходит и деревьям. Валятся в воду, никто их не убирает, на этот раз уже с явной целью «эпатировать» туристов.

Понятно, у озера гостиничка. Есть чудаки, которые живут и в ней. Если бы построить в болоте у чертей — тоже нашлись бы желающие жить, и человеческие женщины меняли бы так же платья три раза в день, хотя только болото и только черти.

Но на час приехать сюда интересно.

Когда-то, когда не было гостиницы и не приезжали на общедоступных автомобилях туристы, тут, вне всякого сомнения, жили русалки и по ночам в тумане водили хороводы, и старый леший подсматривал, спрятавшись за корчагой.

* * *

В баденском кургаузе играют в «пти-шво» и в «лилетту». Что-то тупое, бездарное и жульническое.

До семидесятых годов в Баден-Бадене была рулетка, и Баден-Баден процветал. Немало было проиграно русского мужицкого пота. Потом наступил период ханжеской добропорядочности, и рулетку закрыли. Теперь дела плохи, необходим какой-нибудь сторонний доход — и открыли «лилетту».

В рулетку максимум ставки был двенадцать тысяч марок — играли богатые — и банк брал себе «зеро», т.-е. около двух процентов. В лилетту можно ставить максимум две марки, но игра идет быстрее и с каждой ставки банк берет себе около шестнадцати процентов. Играет только беднота, и ее обчищают начисто. А рулетку не открывают — не демократично, безнравственно... И не понять, что больше: тупая наглость устроивших «лилетту» для обирания нищих или тупость самих нищих, играющих тут в эту тупую игру...

Двое русских с поднятыми воротниками — чтобы скрыть отсутствие воротничка — тоже играли и жадно ждали счастья, и банк брал с каждой их ставки шестнадцать процентов!..

Толпа играет и там, где вероятие выигрыша — один против девяноста девяти... Одни проигрывают, уходят — приходят другие.

* *
*

Дрезден.

На главной площади стоит Опера. Начало в пять часов. В девять — уже все, все спят. Весь город вымер. Только башенные часы отбивают четверти...

Что это опера — легко узнать: слышно, как тенора и баритоны напрягают глотки, выводя вампуковые рулады.

Зелено-синяя тоска.

На этой же площади мы искали Дрезденскую галлерею. Взлезли по лестнице высоко вверх; но это ландтаг. Подумали даже на костел со статуями святых (католическая Саксония) — не могли найти. Обратились к какой-то почтенной жительнице Дрездена, в черной шляпке — «капотке», с проблесками интеллигентности на лице:

— «Bitte, gnädige Frau, где картинная галлерея?»

— «Не знаю, mein Herr»...

— «Картинная галлерея, со знаменитой Сикстинской Мадонной, gnädige Frau!..

— «Сикстинская Мадонна!.. Не знаю, mein Herr».

Она не знает Сикстинской Мадонны. Не слыхала о Сикстинской Мадонне. Да и почему бы ей знать? Дрезденцы не ходят в дрезденские галлереи. И разве Сикстинская Мадонна поможет, чтобы картофель стоил не так дорого? Или маргарин? Или чулки для Берты или штаны для Фрицхена?

* * *

В куполе Лондонской Национальной галлереи написано:

«Выдержавшие пробу веков заслуживают почета и преклонения, на какие не могут претендовать позднейшие».

Слишком много читано о Сикстинской Мадонне. Слишком много думано. Особенно нами, русскими: мы учились по немецким источникам. Ждешь откровения. Входишь, как в святая святых. Готов к экстазу восхищения. И экстаз не приходит...

Картина закрыта стеклом: теряет от этого. Краски бледнее, чем ждал. Нет воздушности, которой ждал, божественности. Облака тяжелы. Нет впечатления небесной дали. Папа Сикст (любовник Рафаэля) и святая Варвара — Варвара в позе странной и неестественной — совсем вплотную налезли на Мадонну. Мадонне тесно среди них...

Лицо поразительное, но фигура тяжелая, монументальная, не прозрачная, легкая, божественная, небесная, стоящая на облаках. Ясно, что облака не удер-

жали бы такую тяжелую фигуру, и поэтому не веришь, что это облака... Темно-зеленые тяжелые занавески еще больше увеличивают тяжесть, давят. И почему портьеры в облаках?

Лучше всего два ангелочка внизу. Но что говорить о том, что лучше. Лучше все. Разумеется, гениальное произведение. Но всякое великое могло бы быть еще больше...

Сикстинская Мадонна — не лучшее произведение Рафаэля. И Рафаэль не непременно лучший среди великих художников.

* * *

В каталоге сказано:

«Картины, особенно выдающиеся, отмечены звездочкой; картины поражающие — отмечены двумя звездочками».

У картин, отмеченных звездочкой, полагается стоять по пять минут. У поражающих полагается стоять и сидеть полчаса. Немцы точно выполняют программу. Привыкли — links, rechts... weiter gehen... налево, направо... проходите дальше...

Не только в Пруссии, но и в Саксонии.

Двумя звездочками отмечена только Сикстинская Мадонна. Она в особой угловой комнате, и там нельзя громко разговаривать. Хотя паркет скрипит, несмотря на то, что ходят на цыпочках. Когда идешь по паркету в Британском Музее, то чувствуешь, что можно везти тяжелые орудия, танки, броню для дредноута —

паркет выдержит; здесь он ненадежный, скрипит, как вся германская государственность, построенная на милитаризме, штыке и каске...

* * *

Для меня была откровением картина Гольбейна младшего — портрет де Моретте. Ее надо было отметить двумя звездочками. В воспроизведениях она все теряет. Чтоб судить о ней, нужно видеть ее самое.

Особые редкие тона: коричневое и зеленое. Живое лицо. Портрет деспота, сильного, мрачного человека, но столько благородства при этом — об этом, понятно для каждого, говорят краски портрета.

«С немцев 50.000 марок, с иностранцев 2.000.000.»

За вход в Дрезденскую галлерею... Глупо и невыгодно. Нигде, никогда, ни в одном государстве, даже полукультурном, этого бы не сделали. Делали наоборот: со своих плата, иностранцам, гостям — даром. Тем более в музеях.

Но зато в Дрезденской галлерее нет статуй саксонских генералов. Только несколько больших портретов саксонских принцев и «кенигов» в вестибюле.

Нигде нет столько художниц; в каждой комнате gnädige Frau копирует знаменитую картину. Кому нужны эти копии? И откуда они берут деньги на краски при теперешней дороговизне? Зря заслоняют картины и грязнят пол. Лучше чинили бы чулки...

* * *

Когда в поезде скучно ехать и дремлешь—страшно тянется время. Дремлешь, дремлешь, что-то снилось, сложное и путанное; опять посмотрел на часы—всего прошло четыре минуты.

А когда напряженно думаешь — незаметно проходит полчаса, и час, и больше, и не скучно, и на лице появляется румянец, потому что кровь приливает к голове, и такое хорошее настроение. Из-за этого одного стоит думать.

Еще важно в путешествии другое. После еды — дорога короче. В немецких расписаниях сказано, что в поезде есть вагон-ресторан. Никаким расписаниям не надо верить. Вагона-ресторана нет, и по пути туда мы были голодны. А на обратном — хорошо поели, и поезд поэтому шел быстрее, и публика была интеллигентнее, и кондуктор вежливее... И вообще германские дороги очень хороши...

* * *

Во время войны немцы ходили в гости со своими «штуле». Штуле — наш «бутерброт». Откуда мы взяли этот «бутерброт»? — немцы никогда так не называют.

Война давно прошла, а попрежнему сидят в опере в платье декольте и жуют штуле. В вагоне все жуют. Намазано маргарином, и кусочек ливерной колбасы.

В гостях, у богатых, подадут бутылку похожего на уксус мозельвейна и несколько штуле из белого хлеба...

Меня как-то берлинец угощал дома сигарами, хорошим вином и оставлял непременно обедать. Я был поражен. Долго думал, что это значит — никаких дел у меня с ним не было — и так и остался в недоумении.

Через недели две встретил его сына:

«А папаша в лечебнице... в лечебнице для душевнобольных...».

Оказывается, он давно был ненормален...

* * *

«Шлагзанэ!»...

Шлагзанэ, это — взбитые сливки. Чтобы они лучше взбивались, добавляют какую-то довольно противную химическую микстуру.

Первое, что предлагают в Германии — шлагзанэ... Самое вкусное с немецкой точки зрения — шлагзанэ... Если жених ведет в кафе невесту и хочет быть беспредельно любезен и щедр — он заказывает шлагзанэ. Не надо спрашивать, хочет ли она шлагзанэ — разумеется, хочет... Во время войны и еще четыре года после шлагзанэ было запрещено: в маленьких ресторанчиках подходил на цыпочках хозяин и шопотом предлагал:

«Есть шлагзанэ»...

Через четыре года после подписания мира шлагзанэ опять разрешили.

Шлагзанэ — мерило немецкого благополучия. Если будет финансовый кризис или государственный переворот — опят запретят шлагзанэ. Шлагзанэ, это —

панацея довольства, счастья, сытости, достатка. Это высшее, до чего дошло воображение доброго немца в области кулинарии.

Шлагзанэ!..

* * *

Страна «запрещено». Сразу — жутко. Ходишь, ездишь, сидишь на месте и все время читаешь, слышишь, думаешь: «запрещено, запрещено... запрещено»...

На плакатах, в газетах, в разговорах, на столбах, в вагонах, на улицах, в садах, в государственных учреждениях, в театрах, везде, везде — «запрещено»... Бежать?! Бежать тоже запрещено:

— Нет визы... вам нельзя.

Все запрещено. Но это никому не мешает. Запрещений столько, что на них перестали обращать внимание. Сами немцы смеются над своими запрещениями. Карикатура с текстом:

« — Почему теперь здесь никто не ходит?

— А видите ли, сняли табличку — «ходить воспрещается»...»

В автобусе разрешено стоять восьми человекам, стоит двадцать восемь, лезут внутрь с большими чемоданами. Когда автобус разгружается, диву даешься — как это все вмещалось.

Наверху вовсе нельзя стоять — стоят...

«Выхода нет»: идут и проходят.

Нарастает протест: хочется именно потому сделать, что запрещено.

Сегодня шел по улице и остановился перед крупными буквами:

«Проход по переулку запрещен».

Почему запрещен проход, а не проезд только, в чем дело — и пошел по запрещенному переулку, хотя одинаково удобно было пройти другой дорогой. В конце переулка оказались запертые ворота! Пришлось вернуться обратно и, ругаясь про себя, думал:

— Почему было не написать — «переулок закрыт», тогда бы я не пошел.

* * *

В Англии в вагонах написано — «смокин», «но смокин» — курящий, некурящий. Немцы пишут — «раухен ферботен» — курить воспрещено... Высовываться из окна — ферботен. Выходить из вагона до полной остановки — ферботен. Англичане пишут только — «выходить опасно», а ты себе выходи, если хочешь, но только сам уже отвечаешь за последствия.

Для англичанина самое слово «воспрещено» — оскорбительно. В крайнем случае пишут — «просят не трогать», но никогда не напишут — «запрещено трогать»... Кто смеет воспрещать свободнейшему из людей!..

В России писали:

«40 человек 8 лошадей».

Никому не пришло в голову отменить эту идиотскую надпись.

Культурность нации измеряется количеством потребляемого мыла. Она также измеряется количеством слов «запрещено», но в обратной пропорции.

* * *

Дуэли в Германии строго запрещены. Но ежедневно студенты дерутся на дуэлях и ходят по улицам заклеенные. Вся голова в пластырях, рука на перевязи. Все видят, все знают. Но дуэли строго запрещены...

Дуэли очень секретны, тщательно скрываются от полиции — но полиция видит ежедневно триста искромсанных студентов, гордо гуляющих по улицам, и ни одного не трогает.

Студенческие корпоративные дуэли не умерли и в республиканской Германии, и они совсем не так невинны: режут начисто носы, уши, пробивают череп. Хотя тут же сидят наготове доктора с хирургическими принадлежностями и всё тотчас пришивают; но не всё прирастает...

«Мензур», — так называют эти дуэли — развивают, якобы, силу воли, храбрость, мужество. Зрелище дикое...

* * *

Азартные игры запрещены.

Разрешается «ферейн лыжного спорта». Членам, между прочим, разрешено играть в карты. Никто не ходит на лыжах, но все играют в карты. Разрешены, понятно, игры не азартные, но все играют в азартную

игру «экартэ», и ее почему-то полиция считает не азартной...

Таких ферейнов в Берлине — сотня; они же игорные дома. Приходит, кто хочет и на один вечер записывается членом...

Самая крупная игра в ***. Превосходное помещение в первоклассном отеле: отель получает треть дохода.

Везде играет шушера; много русских — им делать больше нечего. Но в *** публика избранная, половина докторов (в Германии всякий бывший в университете — доктор), советников (их неисчислимое множество названий), директоров, генерал-директоров, вплоть до тайных советников.

Играют прилично, тихо.

Но хозяин клуба, толстомордый немецкий еврей (он курит какие-то особенные папиросы величиной с сигару и ездит на восьмидесятисильном «Майбахе»), этот хозяин все время кричит:

— Тише!..

Кричит нагло, громко, гортанным неприятным голосом, так и хочется дать ему по морде. Никто не шумит, только он сам. Кричит он не потому, что шумят, а потому, что надо командовать, надо показать, что есть начальство, немец без этого не может:

— Линкс... рехтс... вайтер геен...

Никто и не думает обижаться, так и нужно, так все воспитаны, так привыкли.

Два молоденьких крупье в смокингах, гладенькие и скромненькие, первое время конфузились советников

и директоров, только что-то вежливое бормотали, а потом и они стали кричать наглыми голосами:

— Тише!.. тише!!.

* * *

Чиновников всегда в Германии был избыток, а после войны стало еще больше: пристраивали пострадавших.

Я прожил в Англии в своем доме два с половиной года. Ни разу в течение этого времени в мои ворота не вошел ни один городовой, ни один чиновник.

В Германии за восемь месяцев я удостоился *девяноста восьми* посещений: от местной полиции, от полицей-президиума, от политической полиции, от криминальной полиции, вонунгсамта (квартирная полиция) местного, от вонунгсамта центрального, от строительной полиции, от канализационно-водопроводной полиции, от нескольких судебных приставов, от ночного караула, от кладбищенского управления... Из крематория только еще не приходил ни один чиновник: придет еще.

Если ворота заперты, чиновник перелезет через забор!...

* * *

В Японии чиновники приходили целыми партиями, один следил за другим.

* * *

Если бы мне предложили жить у настоящей немецкой квартирной хозяйки или в благоустроенной тюрьме,

на выбор, с тем, что днем будут отпускать в город — я выбрал бы, не колеблясь, тюрьму.

Вы знаете, что такое немецкая квартирная хозяйка?!

Когда вы уходите из дому, она спрашивает — куда? зачем? когда вернетесь?.. Но кроме того нужно написать на особой табличке:

«Меня дома нет, приду в половине первого»...

Когда придете, нужно повесить другую табличку:

«Я дома».

Курить можно только в том месте, где под кресло подостлан линолеум. Нельзя каждый день сидеть на одном и том же кресле, так как оно просиживается — надо на всех по порядку.

Ключи, разумеется, должны всегда висеть на определенном гвозде. Они связаны шнурком: нельзя вешать за шнурок, иначе он постепенно перетрется и какой-нибудь ключ может потеряться: нужно вешать за кольцо ключа...

Половая щетка. Ее обязательно ставить волосом вверх: если ставить вниз, то волос сваливается в одну сторону, и щетка становится кривобокая... Сколько вот жили люди в других странах и у них были всегда кривобокие щетки, и они не знали почему.

В кухню вообще ходить нельзя. Но раз пустили уж вас, то умейте себя держать. Надо знать, что брать раньше и что потом. Какой рукой какую кастрюлю, и в какой руке держать в это время полотенце. Если не в той руке, то можно его прожечь или запачкать... Сначала надо взять в руку кастрюлю,

а потом уже зажигать газ. Мало того: надо сначала чиркнуть спичку, а потом уже открывать кран, иначе часть газа пропадет зря, пока чиркаете спичку.

Кухонный стол нельзя пачкать: мыть его надо потом теплой водой, а теплая вода стоит денег... Вообще с теплой водой полегче, хотя за нее в счет и поставлено особо.

Когда выходите из комнаты, хотя бы на полминуты, надо тушить электричество. Если штепсель в другой стороне, изучайте раньше дорогу, а то, проходя в темноте, можете что-нибудь хозяйкино разбить...

Гости могут ходить к вам только одного с вами пола и не чаще раза в неделю, и не позже десяти часов.

Разумеется, подробная биография каждого гостя должна быть известна хозяйке заранее...

Может быть, все это и не дурно. Но все эти правила хозяйка прочитает наставительным тоном, с подобающими жестами, в первый же день, а затем будет ходить за вами, как близкая смерть, и наблюдать, не сделали ли вы какого-нибудь нарушения в этих правилах. И как нарочно вас чорт попутает, вы все уже заучили, а тут как раз забудете, и хозяйка немедленно сделает выговор...

Каждый здесь меняет поэтому комнату несколько раз в год, в поисках лучшей хозяйки все это вечное переселение движется как «перпетуум мобиле».

...Если вам подадут кофе (это, разумеется, не кофе, а ячменный навар с цикорием) и немножко сливок

(разумеется, это не коровьи сливки, а кокосовые...) и еще к этому даже немножко сахару, то нужно сливки влить в кофейник, туда же положить эту крупинку сахару, все тщательно размешать ложечкой и потом уже наливать в чашечку. Иначе вы можете не угадать, и сначала попадет в чашечку больше кофе, а во вторую — больше молока, и сахар тоже неправильно поделится.

Если вы вздумаете курить хорошую сигару, сигара хорошо разгорится, нагорит пепел, и она станет поэтому ароматней — хозяйка непременно придет закуривать свою папиросу о вашу сигару и скинет пепел (разумеется, в заранее подставленную пепельницу).

Если к вам придет особенно кто-нибудь приятный для вас и, забывши о всех хозяйках на свете, вы начнете оживленный разговор, она явится вдруг, «как тать в нощи», и обратится к вашему гостю:

— Вот пепельница!... не прожгите скатерть, а то мне уже прожгли один раз, и квартирант не хотел платить...

* * *

Немецкая семья редко покупает теперь полфунта ветчины. Но когда решают купить, делается это так:

«Муттер» идет в пять-шесть магазинов и выбирает, где лучший окорок сейчас режется и где дешевле, особенно — где дешевле. Затем, выбравши, она заходит в магазин окончательно и просит дать ей «ахтель» (восьмушку). Когда эта восьмушка завернута в бумагу, она говорит:

— Ах, пожалуйста, еще ахтель, совсем забыла... для детей моей бедной соседки, совсем забыла...

Два ахтеля всегда немножко больше одной четверти фунта: немножко перевесу в каждом. Расчет на прибавку для детей бедной соседки почти никогда не удается, — колбасник сам прошел эту школу и вообще до бедных детей соседки ему нет никакого дела.

Колбасник прежний, традиционный, толстый, и предпочитает покупателей, которые не смотрят на весы...

В другом магазине, опять два ахтеля. Если сложить потом вместе эти четыре ахтеля, то выходит не полфунта, а $^9/_{16}$.

Хорошо смеяться. Но сейчас это действительно от нужды: многие только мечтают о ветчине с 1914 года.

* * *

Берлинский немец выписывает сигары из Гамбурга. Если выписывать не меньше как на двадцать марок, то за пересылку не платится. Ему одному много на двадцать марок: он ездит в другие концы Берлина, к приятелям и знакомым, и предлагает им участвовать в этой комбинации, каждому на пять марок... Сигары, таким образом, обходятся на один пфенниг дешевле, а если покупать «несортированные», разного оттенка, то еще на один пфенниг дешевле.

В Берлине, впрочем, «несортированные» тоже на один пфенниг дешевле...

Берлинская хозяйка выписывает кофе из Бремена и продает по фунту знакомым. За это она у них покупает какао и чай.

* * *

Немцы славятся своей аккуратностью.

У нас в захолустьи так мели лавки: мальчишка возьмет чайник, с которым бегает за кипятком для приказчиков, — сделает остатками воды несколько кренделей на грязном полу и скребет стертой метлой... Грязь размажется, пыль осядет на стулья и одежду, станет еще грязней...

Так моют теперь вокзалы в Германии. Было только пыльно, а делают пыльно, грязно и скользко. На лестницах паливают побольше, и пассажиры ходят точно по «чертовой лестнице» в Луна-Парке.

Двор-колодезь, и часами на нем выбивают ковры. Мелкая, въедливая, першащая в горле пыль медленно и упорно поднимается к окнам квартир и пропитывает мебель, другие ковры (которые завтра будут выколачиваться), легкие...

* * *

Когда ругаются два англичанина, шанс один против одного, что подерутся.

Когда под моим балконом ругались немцы (там был ресторанчик), я держал со знакомыми пари — будет драка или не будет? И опыт показал, что тот,

кто держит за драку, по справедливости должен получать двойную ставку, шансов у него было меньше вдвое.

* * *

В 1922 году я выстроил себе в Берлине дом, на пустыре. В 1924 году все рядом уже было застроено, хотя, по уверению немцев, теперь могут строить только иностранцы. Но мой сосед — немец.

Честный буржуа — любит свою Амальхен, любит свою полицейскую собаку. Раньше у всех были таксы, теперь — полицейские собаки. Собаки в намордниках, но по тротуарам надо ходить, смотря под ноги внимательно: особых уборных для собак нет.

У входной двери он сделал каменную площадку. Площадка открытая и выше улицы, как сцена. На площадке белый стол, белые кресла, и тут всегда сидит Амальхен, две Гретхен и полицейская собака. Один раз сидели даже с зонтиками, в дождь...

Сидят для того, чтобы все видели их семейное счастье: смотрите и вы, такие-сякие французы, вы все у нас отняли, но семейного счастья не отнимите!

Забора никакого: иначе не видна будет Амальхен. Даже если низенький сделать, — не видна будет полицейская собака. Есть только фундамент для забора (потому что строительная полиция заставила) и в него набиты гвоздики.

* * *

Сидя дома, целоваться скучно — никто не видит. Поэтому целуются в вагонах железной дороги, в трамвае, просто на улице. Очень удобно в вестибюле хорошего отеля, но это не всем по средствам.

На «фрейбаде» («свободное купанье») в Ванзее, около Берлина, сорок тысяч пар лежат вплотную на песке и ведут себя так, точно они одни во всем подзвездном мире. Костюмы из фигового листика. Одуряет запах разгоряченных тел; сначала, с зимы, пахнет не очень хорошо, потом — лучше...

Так откровенно не лежат на берегу в Неаполитанском заливе, хотя «на сорок верст от Неаполя не рождается невинных девушек», как поется в песенке.

Сексуальная нравственность своеобразная: до замужества несколько «друзей», а после—превосходная жена и мать. Впрочем, за банку настоящих американских сливок может изменить, но сливки честно пойдут детям.

Француженка поступает наоборот: до замужества осторожность, а потом — все можно.

* * *

Симпатичнейшая черта немцев — любовь к цветам. Нигде нет столько цветочных магазинов, как в Берлине. Нигде нет столько торговцев цветами на улицах—как в Берлине... Седая старушка, одноногий солдат, рыжекрасная девица, мальчуган лет шестнадцати — все торгуют цветами...

Ницца — цветы... Гонолулу, Лос-Анжелос—царство цветов. Но в Берлине больше цветов!

И здесь цветы в пять в десять раз дороже, чем в Ницце, и трудно понять, как их могут покупать, откуда берутся деньги.

У меня около дома было мало цветов. Я забыл о них думать одно время. Меня привлекли к судебной ответственности за то, что «сад не устроен как следует», и суд в двух инстанциях обязал меня садить «достаточное количество» цветов, для каждого сезона свои.

Я возмущался, но насадил...

Цветы и музыка.

Но музыка особенная, немецкая, протяженно-сложенная.

Француз любит музыку за хорошим обедом; немец идет слушать музыку специально для музыки, музыка для него самопричина и самоцель... Он готов простоять три часа на одной ноге, слушая симфонию из пяти частей, и потом будет еще два месяца повторять:

— «Вундербар!... фабельхафт!.. коллосаль!»

В кафе во Франции играют легкомысленные новинки. В Берлине даже в кафе — «Тристан», соната Бетховена.

Американцы говорят:

«Если нет никакого мотива и нельзя запомнить значит — классическая музыка»...

Немцы запоминают и классическую музыку; мальчуган, неся на спине корзину, насвистывает «Лоэнгрина»...

Я перед этим даром только снимаю шляпу, потому что я, к сожалению, думаю о музыке подобно американцам.

* * *

В театрах непременно принцы и принцессы. Как будто карикатурно, как будто смеются над ними, а выходит культ принцев. Они импонируют еще зрительной зале, всей зале — от «лож для иностранцев» до мест, с которых ничего не видно.

До сих пор тоска по принцам, по муштре. Великая муштра живет тут в каждом — от носителя «железного шлема» до социалиста, только у каждого по-своему.

* * *

С детства у меня не то страх, не то отвращение к восковым фигурам. Еще от первого паноптикума это осталось: мне потом мерещилась убийца детей, акушерка Скублинская и теленок с двумя головами. Я вскрикивал по ночам...

Крашеный воск — синоним пошлости.

Причесанный бюст в окне парикмахера; разодетый манекен в витрине модного магазина; восковые цветы или мыло в виде румяного яблочка — пошлость улицы, безвкусие...

Белый благородный мрамор и накрашенный воск — полюсы. Изысканность и пошлость, произведение искусства и вещь с Фридрихштрассе...

Так я думал до сих пор...

Проезжая много раз Берлин, я все собирался зайти в Музей Фридриха, посмотреть знаменитую восковую «Флору», якобы, Леонардо да Винчи. Она много нашумела одно время; пожалуй, больше, чем тиара Сайтаферна в Лувре. Флору купил в Лондоне на аукционе директор музея Боде и заявил, что это несомненный Леонардо да Винчи. Английские критики смеялись, утверждали, что это работа современного английского мастера. Боде стоял на своем...

* * *

Поселившись в Берлине, я забыл о статуе Флоры. Только на-днях, что-то прочтя, вспомнил и сейчас же отправился в музей. Я шел только ради подтверждения своих готовых уже выводов: понятно, подделка... Как мог Леонардо да Винчи, великий художник, лепить восковую статую, да еще красить ее!.. Боде ошибся и не хочет признаться.

Но...

Я не забуду этой милой улыбки бледных восковых губ. Да, восковых и милых, как это ни неожиданно для меня. Это было откровением—из воска и высокохудожественное. Особое очарование в этом милом лице (восковом лице—что еще за полчаса казалось невозможным...).

Воск почти не крашен, только голубая повязка вокруг талии.

Что следует из этого: разумеется, не то, что английские критики ошиблись, а я понял. Нет,

совсем другое. Мне вспоминается прочитанная где-то фраза:

«Человек, который думает в сорок лет так же, как он думал в двадцать, несомненно глупый человек...».

* * *

В том же музее я остановился у ящика с монетами. Германские, греческо-римские. Злые, но не глупые лица. Жгли людей, делали бомбы. Благородные профили, — говорили про них. Тогда они думали, что это благородно.

Небольшой ящик — Россия. Анна Иоанновна, Петр II, Павел I... Профили идиотов или рецидивистов-преступников. Вглядитесь в них... Жутко от мысли, что эти люди правили государством. Мне особенно жутко — они правили моей родиной, моим прапрадедом, прадедом. Они убивали один другого, предавали, подличали. Судя по профилям, они ничего другого и не могли делать.

И какая гордость в душе, что этого в России уже никогда больше не будет. Для рождающихся в России не будет больше помазанников... Рождаются новые, свободные люди, не могущие быть рабами...

... Вот бы теперь император Павел скомандовал, как тогда:

«В Сибирь на поселение... шагом м-м-арш...».

И весь полк, как один человек, повернулся бы и без команды всадил пули в его голову, выстрелы слились бы в один залп, и было бы столько пуль, сколько ружей в полку. Понятно, некоторые промахнулись бы...

Всмотритесь в лицо Анны, императрицы Анны! А верноподданный гравер еще скрасил, несомненно... Павел—еще хуже...

* * *

Музеи—храмы будущего.

Нигде не было такого начищенного паркета, как в берлинском музее (тогда дворце) при Вильгельме. Неудивительно, что блестело: ходить простому смертному не разрешалось—не только «запрещено», но затянуто веревкой.

В Британском музее, в отделе манускриптов, блестит не меньше, и все ходят—веревок нет и «запрещено» нет. У входа стоят большие щетки, и все вытирают ноги. Дети особенно вытирают, сделали из этого своего рода игру. Бедно одетые, оборванные дети; они постоянно бродят по залам музея, никто им не запрещает. Манускрипты и инкунабулы ничего не говорят им, но громадную коллекцию марок они рассматривают даже с некоторым пониманием...

Почему так много коллекций марок?

Культурная ценность есть во всякой коллекции, но тут наименьшая. Всюду собирают марки. Решительно все собирают в Германии—от министра до чистильщика сапог... Если нет темы и неудобно говорить о погоде—говорите о собирании марок.

Почтальон ходил ко мне раз пять с просьбой подарить ему конверт из России—на нем было на 420.000

рублей марок! Этот же конверт просило пятеро других лиц. Человек подл — я отдал тому, кто был мне нужен для какого-то дела. И он сделал для меня это дело: взяток не берет, но против марок не может устоять...

* * *

Будто социализм убивает индивидуальность? Я сам когда-то так думал. В буржуазном мышлении это установлено твердо.

Неверно уже потому, что невозможно убивать индивидуальность больше, чем это делают империализм и милитаризм...

Я думал это, ходя по берлинскому кладбищу. Пришлось иметь дело и с берлинским кладбищем. Там лежит моя жена. Ее погубила самоуверенность немецкой медицины. Впрочем, я не хочу выделять немецкую медицину — вся современная медицина слишком самоуверена: она знает 1%, а действует, будто знает 100%... Современная медицина — это алхимия; когда-нибудь из алхимии получится химия, а пока самоуверенное колдовство.

Муштра, ранжир, «в линию», всех под одну гребенку, «линкс», «рехтс» — такова немецкая культура (особенно здешняя, берлинская, прусская), таково и берлинское кладбище. Даже кладбище!

Нужно было заказать памятник. Особое техническое отделение при строительной полиции утвердило чертеж; предварительно его одобрило кладбищенское

управление. Памятник был заказан в два с половиной метра, его урезали на полтора. Фирма, делавшая памятник, немецкая, привыкшая к муштре, все-таки ошиблась, и когда памятник поставили, он оказался на десять сантиметров выше полутора метров.

Пришлось срубать. Срубили.

Тогда было получено предписание немедленно переделать памятник снова:

«Зачем позолотили буквы?.. Буквы золотить нельзя»...

Соскребали позолоту.

Тогда было опять получено предписание немедля убрать памятник или сделать фон около букв матовый.

«Полированные поверхности не допускаются».

Я возмутился и не стал снимать памятника.

Тогда его сняло само кладбищенское управление и поставило в особый сарай, где стоят все провинившиеся памятники.

«Пуговица не на месте... марш в Сибирь!»...

Тут жив еще Павел I.

Так как на каждом кладбищенском месте или должен быть гладенький песочек — где еще никто не лежит — или памятник, а памятника теперь не было, поэтому сравняли холмик, убрали цветы и сделали гладенький песочек. Впредь до приведения памятника к положенной форме...

Не верите?! Думаете, я преувеличиваю? Ни слова! Ни черточки...

* * *

Пройдитесь по кладбищу.

Квадраты одинаковой величины. На каждом памятник в полтора метра. Все без золота. Все без полировки. И около каждого елочки...

Парад покойников.

Встанет сейчас из-под одного Фридрих Великий, из-под других его генералы, фельдфебели, горнисты, и начнется парад. «Левой, правой... Левой, правой... Раз, два, три, четыре...», гусиным маршем, как в доброе старое время.

Прелесть кладбищ Генуи, Флоренции, парижского Пер-Лашез, русской лавры именно в индивидуальности памятников, в этой окамененной оригинальности человеческой мысли, вкуса, желания, символа... Один хотел белое, другой золотое; один намогильную плиту, другой высокую, прямую колонну, третий сложную скульптурную группу; крест, чаша, барельеф, целый маленький храм, плакучая ива, лампадка... В этом именно и прелесть, мистичность кладбища, душа кладбища, лицо кладбища...

Берлинцы думают иначе. Их приучили думать иначе. Им не позволяли до сих пор думать вне правил хорошего поведения. Хорошее поведение было — «линкс, рехтс... Deutschland, Deutschland über alles»...

Но это изменится — и тогда я опять позолочу буквы, не потому, что это красивее, а из протеста; и сделаю на памятник надстройку в один метр.

* * *

Сан-Суси.

Немцы зовут «Зан-Зуси». Дворец в Потсдаме. Подражание Версалю.

Но когда было все готово, немцы прибавили своего: среди нимф и классических богов, верхом на лошади, в боевой форме, стоит «Фрицхен» (так любовно зовут Фридриха Великого). Ремешки у лошади, пряжки, пуговицы у Фрицхена — все по строгой форме. Знатоки делали — тут ни к чему не придерешься.

«Пуговица не на месте... марш в Сибирь», — командовал Павел, выученик и почитатель немцев.

Нет, тут не скомандуешь, тут пуговица на месте!.. И лошадь повернулась крупом к нимфам и прочей классической ерунде — есть вещь и есть ерунда...

Почему кругом не поставили пушек, взятых Фридрихом у врагов?

И так это сильно у немцев, что произошла как будто некоторая переоценка ценностей, вместо милитаристической монархии стала демократическая республика, а Фридрихи, Вильгельмы, генералы, мундиры и каски — все осталось на месте.

Когда вольнодумные, отколовшиеся социалисты в городской думе Берлина вздумали поднять вопрос о переименовании улиц с царскими именами, большинство социалистов возмутилось, и отклонили предложение подавляющим большинством — улицы остались прежние: и как было в Берлине пятьдесят улиц Фридриха, сорок — Вильгельма, тридцать — кронпринцев, двадцать — регентенштрассе, и еще по десятку

Луизен, Виктория, весь синодик имен царствующего дома Гогенцоллернов — так и осталось.

* * *

У фонтанов Сан-Суси не поставили пушек и генералов Фридриха, но генералы не обижены: они все стоят в музее классической живописи на Купферграбене, в музее Фридриха. Фридрих снаружи, а они внутри, рядом с Рафаэлем, Рембрандтом, Леонардо да Винчи, Гоббемой!..

Ведь надо же дойти до этого — в музее классической живописи поставить статуи генералов в парадной форме!

Я много раз теперь ходил в музей Фридриха, и всякий раз мысль останавливалась в вестибюле: каким образом люди дошли до этого, и культурные люди?

* * *

...По дорожке парка Сан-Суси идет пара — Маргарита с мужем. Та самая, Маргарита Гёте...

Маргарита не умерла. Она вышла замуж и только изредка вспоминает Фауста. У нее большие красные руки — как были и раньше. Располнела, носит шелковые чулки (положим, не совсем шелковые, а из искусственного шелка), но едят они с мужем больше вареный картофель и кровяную колбасу — за колбасой приходится ездить в разные части города, бывает раз

в неделю в каждой колбасной, когда накопляются отбросы.

У мужа на щеке глубокий шрам — не от войны, а от студенческой дуэли. Виски наголо обстрижены, и усы оставлены только под самыми ноздрями — два черных пятнышка. Это усы республиканские, в отличие от былых вильгельмовских, стоявших вверх... Подскочившие брюки и вязаный галстук из Хемница.

Каждый праздник они едут за город, пьют большую кружку пива в новом месте и обсуждают, где пиво лучше.

Он — социалист, но мечтает о реванше Франции, хотя бы для этого пришлось вернуть Вильгельма...

Ожерелье Фауста продано, и деньги положены в швейцарский банк.

* * *

Германия — страна эрзаца, подделки, суррогата. И рядом с эрзацем — немецкие железные дороги работают как часовой механизм...

Рядом с трамваем, загородившим улицы, ползущим как былая охтенская конка и ежедневно сталкивающимся с чем-нибудь — в Америку летит немецкий воздушный корабль, гордость культуры...

Я как раз дописывал эти строчки, когда цеппелин пролетал над моим домом. Выскочив в сад, я увидел его над соседним лесом...

Едва ли я когда-либо переживал такую гордость за человека!.. Ярко озаренный солнцем, в серебря-

ной дымке, с чудовищным гулом моторов, он плыл как гигантская рыба, плыл в воздухе...

«Пять тысяч пудов... Сто сорок верст в час... Семьдесят два человека»...

... «Альбатрос» Жюль-Верна! Сказка о воздушном корабле!.. Не сон ли это?!..

Нет, это торжество немецкой техники, это действительность, это завоевание стихий, торжество великого человеческого духа...

А рядом опять замызганный, облупленный, несуразный, отставший на пятьдесят лет, гремящий и качающийся берлинский извозчик, в дырявом цилиндре и красном жилете наехал на трамвай и ругается с вагоновожатым, а сзади напирает автобус, в котором напаковано вместо двадцати человек — сорок восемь...

* * *

... Крепости немецкого духа нужно удивляться. Это не отсутствие самолюбия, самосознания — это именно крепость духа. Немцы самолюбивы. Иногда чрезмерно...

И с каким непонятным спокойствием они прошли через самые большие унижения: прошли через унижения, после того как сжились, с мыслью о мировом могуществе... Давно ли каждый немец мечтал о мировом могуществе!

Народ имеет такое правительство, какого он заслуживает. Это старая истина, хотя старые истины банкротятся...

Англичане издавна славны своим холодным спокойствием. Английское спокойствие и самообладание давно вошли в поговорку, но хотел бы я все-таки посмотреть, что было бы с англичанами, если бы им пришлось пройти через ту цепь унижений, какая связала немцев... Были ли бы они так же холодно-спокойны?.. Может быть — да, может быть — нет. А немцы уже прошли через это. И это поражение несомненно еще больше закрепит немецкий дух: настоящий игрок в карты или биржевик говорит:

«Только тот выиграет, кто привык спокойно терять...».

Но выигрыш будет не на поле сражения...

ПАРИЖ.

Два часа в Кёльне. Вполне достаточно.

«Рабочее» правительство Англии все еще оккупирует Кёльн. На площади английский флаг. Но самих англичан не видно. Они корректны. Столетиями учились оккупировать, занимать, колонизировать...

Мутный серый Рейн с закопченными берегами. У Майнца он тоже не веселый. У Франкфрута—тоже.

— Где же дивные берега Рейна?

— Там...

Но «там» они тоже не очень дивные. Нет «там». Рейн, как и Сикстинская Мадонна, несколько преувеличен. Это в немецком характере, вполне добросовестно и искренно:

— Фабельхафт... сказочно! вундербар... великолепно! коллосаль!!.

По мнению моей соседки, все двенадцать номеров в варьетэ, включая два номера оркестра (пока соберется публика) были «фабельхафт».

Зато Кёльнский собор действительно «коллосаль», целая эпоха в одном этом здании. Тринадцатый век, и такой замысел... «Не стройте храмов во имя мое».

* * *

— Как удобно... собор у самого вокзала...

— Вандализм... построить вокзал у самого собора...

Почему не могли отодвинуть мост, железную дорогу и особенно вокзал? Собор испорчен, оскорблен их близостью. Самая величественная постройка Средневековья испорчена. Вместо паутины веков, копоть паровозов... Священнодейственное молчание, почтительная тишина прорезана наглыми свистками и гулом.

Впрочем, этого не понимают и сами блюстители священного, жрецы — иначе они не звонили бы так нагло внутри собора.

Большой откормленный дядя, в опереточной ливрее с булавой, может быть, сам герцог Альмавива из «Севильского Цирульника» стоит у входа.

— Нельзя смотреть в лорнет, сейчас идет месса...— заявил он рядом стоящей даме. Мне в пенсне — можно, в лорнет — нельзя.

Впрочем, ему лучше известен этикет бога.

* * *

Идет молчаливая молитва, месса — он говорит. Что-то где-то читают про себя. Полное молчание. Человек в белом качает кадило... Альмавива улыбается,

в величественной позе, с булавой... И вдруг резкий звонок — раз, два, три...

— Ско-рый по-езд на Сер-пу-хов, Ту-лу, Курск... третий звонок.

Нет, это относится к богослужению: надо встать или сесть. Это этикет бога. Иезуиты были умные как будто — как же они не поняли, что это глупо и неуместно? Как они не изменили этого до сих пор — ведь верующие изменились.

В Японии, в Китае, там проще: каждый входящий в храм звонит в колокол у входа:

— Эй, бог!.. не спишь там... Отметь, что я был...

Во время молитвы тоже звонят в гонг. Маленькая японочка, ночью, стоя на коленях на цыновке, перед крохотной свечечкой, тоже ударяет маленькой палочкой в маленький гонг:

— Бог, миленький... ты же не спи, слушай, о чем я прошу.

Там это уместно; тут — дико.

...Опять звонок — раз, два... И еще другой звонок, более тихий, у каждого под ухом, и просовывается сачок на длинной палке:

— Пожалуйте деньги...

— Да ведь я задумался о божественном, о возвышенном, я хочу уйти от земной склоки... вы мне мешаете...

— Все равно... Жрецам нужны деньги, пожалуйте... дзинь, дзинь.

* * *

Рядом в купе две хорошеньких еврейки со своими кавалерами. Говорят по-английски, но орут на весь вагон. В другом—два испанца, тоже не тише. Южные темпераменты. Еще в библии стены Иерихона рухнули, когда сразу все завопили...

Испанцы хотели ехать в Россию, но их не пустили:

— Ничего, у нас есть свои индустриалисты... мы знаем, что это такое, — утешаются они.

* * *

Доехали до героической Бельгии. На трех станциях осмотры и контроли. Обиженный герой — тип мало приятный.

В бельгийском консульстве в Берлине всегда толпа: Бельгия как рогатка загородила путь между большими государствами и не пускает проезжать без визы. Особенно русских... Чтобы проехать четыре часа по Бельгии, надо простоять два часа в консульстве.

Двадцать восемь портретов короля. Не преувеличивая.

— Ваше величество, велите продать двадцать семь портретов и купить стулья для ожидающих визы.

Человек двадцать натолкано в коридорчик. Стоят, прижавшись, ловят собачьими взглядами благоволение проходящего мимо курьера.

— Пустите же, наконец, туда...

Туда, в комнату, где висит пять портретов короля и где совершаются эвксинские таинства визирования паспортов. Много штемпелей, много марок, несколько

подписей, и разрешено проехать через героическую Бельгию, через страну короля Альберта... Разрешено!.. Какое счастье. Вы подумайте только, ведь Бельгия...

— Можно остановиться на один день в Остендэ?...

— Ни в каком случае!

— Я не для пропаганды, господин консул... Сейчас сезон в Остендэ, я хотел только посмотреть на купающихся шикарных кокоток...

— Будете немедленно арестованы.

* * *

Маккиавелли в своем руководстве для правителей писал:

> «...Когда на страну наступает неприятель, правитель не должен колебаться в своем решении: если неприятель разрушит его страну, пока настроение подданных еще не остыло — они сплотятся около него; а спустя некоторое время, когда воинский пыл остынет и они могли бы изменить ему, все равно уже все разрушено, возврата нет — и поневоле останутся верны ему...».

У Маккиавелли много полезных советов, и спустя чуть не пятьсот лет правители ссылаются на библию, а действуют по Маккиавелли...

Три бельгийских ревизии на разных станциях. Ничего не просочится, ни один русский.

— Ваши чиновники, ваше величество, наивны: едущие для пропаганды — люди решительные, и они не глупее ваших чиновников. Они просачиваются через самые плотные стенки... А что касается шикарных кокоток, то они теперь в Остендэ не едут. Когда был жив ваш уважаемый папаша, он оказывал им всяческое содействие, и тогда благодарный демимонд считал долгом съездить в августе или сентябре в Остендэ... И знаменитые остендские устрицы тоже вымирают... Теперь в Остендэ пусто, я только пошутил с вашим консулом.

На вокзале в Льеже поезд стоит полчаса. Толпа рабочих входила в вокзал, чтобы ехать домой в предместья. Умные, как будто, лица. И рабочих в Бельгии большинство, страна интенсивной индустрии... Как же это согласовать с сугубыми визами и двадцатью восьмью портретами короля вместо стульев?

* * *

В Парижской Опере не столько красива сама зала, как лестница, фойе. Самая красивая лестница в мире... Это «самая красивая в мире», «самая большая в мире», у меня осталось от Америки — так там все определяют, там только этим гордятся.

Но и зала замечательна. Ажурная. Аван-ложи отделены от лож только красными портьерами, и когда во время действия в зале полумрак, в аван-ложах горят лампочки, просвечивают через портьеры, и вся

зала кажется ажурной бонбоньеркой, легкой, веселой... В противоположность тяжелой каменной опере Берлина и другим.

Вечером, во время антракта, с террасы, освещенной круксовыми трубками, волшебный вид на Авеню де л'Опера и бульвары. Волшебный вид! Ради него одного стоит ехать в Париж. Три линии фонарей Авеню, налево и направо мигающие фантастические рекламы, внизу живая площадь с тысячами огоньков, тысячами звуков, с тысячами людей... И надо всем этим та особенная атмосфера, то приподнятое настроение, какое есть только в Париже... Недаром говорил один русский:

— Тут каждый день встреча нового года...

Во всем Париже ежедневно встреча нового года. Нового дня жизни — день жизни, это так много...

* * *

В таком здании должно твориться высокое, изысканное. Тут должны думать об идеалах. Или получать самое острое наслаждение «сегодня», действительности. Тут мысль человека должна переноситься в звездные миры, в иные культуры, где люди уже не злы или где вовсе не люди, а существа более совершенные... Тут должны даваться моменты высочайшего земного наслаждения, создаваться незабываемое, минуты, делящие жизнь на «до» и «после»... Такое здание. Одна из фантазий Пиранези в действительности...

Но тут идет опера.

Шел «Фауст» в тысяча шестьсот восемьдесят третий раз... С 70-х годов. И сегодня он шел так же, как тогда, в семидесятых годах... Никакого движения вперед. Застывшие формы несовершенного искусства; не только несовершенного — ложного.

Одна из самых фальшивых форм искусства. «Вампука».

* * *

Несуществующие существа с собачьими головами, с птичьими, с человечьим лицом... Химеры на соборе Нотр-Дам. Их зовут химерами, но их творец думал о дьяволах, он создавал дьяволов, это и есть дьяволы.

Посреди них стоит ангел, трубит и смотрит вниз. Внизу церковь, внизу — спасение от дьяволов... Это аллегория крыши Нотр-Дам, странная с первого взгляда — как же это на доме бога дьяволы?! Смелая для христианина аллегория. В скольких произведениях трактуется об этих аллегориях, и авторы нарочно не хотят понять ваятеля, прельщаются парадоксом: на храме — дьяволы!

Тут нет парадокса в этом. Но что спасение там, внизу, у жрецов, курящих пахучую смолу и собирающих деньги (деньги... деньги...), у друзей денег — это парадокс...

В соборе Нотр-Дам можно смотреть в лорнет: здесь этикет бога иной, чем в Кёльнском соборе.

* * *

В шикарном отеле все, — начиная от бумаги для писем, на которой я делаю эти заметки, — все стало хуже.

Роскошь заперлась в особняк, на собственную яхту.

Вырождается средний класс: ширится пропасть между высшим и низшим, чтобы было куда провалиться.

Из обедов убрали половину блюд. Самый шикарный метр д'отель не предлагает больше четырех... О пунш-гляссэ, делившем обед пополам, чтобы влезли в горло еще шесть блюд, когда уже съедено шесть, забыли и думать...

* * *

В отелях Парижа прежние залы сданы банкам, пароходным компаниям. Экономия.

— Нет прежней клиентуры, — вздыхает старый портье.

Нет широких натур, русских графов и «дюков», нет «стакеевых» (русский Стахеев расшвырял во Франции несколько миллионов и этого до сих пор не могут забыть...); нет знатных австрийцев, проигрывавших свои замки (вместе с населением прилежащих местностей...).

Американцу ничто не дорого, но он не швырнет. Жила. Заплатит, что угодно, и не поморщится, но не швырнет... А без этого уходит столько былых оттенков развеселой жизни. Один Гульд, enfant terrible «четырехсот», пробовал швырять американские мил-

лионы, но и тот кончил судебным процессом со своей женой, французской шансонеткой, когда выяснилось, что она покупает девяносто шесть шляп в месяц... И каких шляп!.. Больше тридцати в месяц американка не купит.

Один русский, расшвыривая папенькин миллион, любил говорить:

— Хочу умереть под забором с гитарой в руках...

Мечта, пожалуй, осуществится: он умрет под забором Парижа, только без гитары — она пропита уже...

Роскошь прячется от глаз толпы.

Роскошь претворяется в иные формы: в форму власти над человеческими душами:

— Хочу иметь свою газету.
— Хочу построить церковь, охранительницу устоев.
— Хочу открыть школу, где будут учить: все существующее прекрасно: всякая частная собственность священна, «предвечная справедливость»...

* * *

Есть люди, любящие тишь деревни. Они могут жить месяцы в тихой мирной глуши и быть довольны жизнью. Некоторые, чтобы творить, уходят в одиночество. Я их не понимаю: они иные люди.

Лежа ночью, с открытым окном на площадь Оперы — самое оживленное место на земном шаре —

я прислушиваюсь к гулу улицы, и она кажется мне живым существом. Несмолкаемый, сливающийся в одно рев автомобильных гудков, лязг и гиканье неуклюжих подвод, шипение пара, выкрики камло, какой-то звон, задавленный гул «метро» — все сливается в один голос улицы, ухо перестает различать отдельные звуки...

Уже с пяти утра голос все нарастает, нарастает... Все громче говорит, ворчит, сердится и смеется улица... Сон уходит, является беспричинный подъем, хочется делать что-то большое, важное, великое — вскакиваешь с постели. «Суждены нам благие порывы...»

Я люблю большой город. Особенно Париж. Особенно эту площадь Оперы.

* * *

Давно уже, когда я жил на Урале, у меня бывал железнодорожный чиновник. Когда-то он служил в гвардии, что-то случилось, и уже лет двадцать он сидел тут, отягченный семьей, опустившийся, втянувшийся в глухую провинциальную жизнь.

— Я вам не мешаю? — говорил он, приходя почти каждый день.

Когда-то он был в Париже. Выпив вина, после хорошего обеда, он становился разговорчивым. Глаза загорались, лицо озарялось доброй улыбкой, и он говорил:

— Еще разик хотел бы побывать... Посидеть в кафе около Оперы. Заказал бы стаканчик маза-

гранчику, закурил бы сигару и смотрел бы, смотрел... Пусть уже другие живут, пусть уж ухаживают за пикантными канашками, а я бы только смотрел... Мимо идет все такое элегантное, идут франты, в панамах, помахивая тросточками, девочки стучат высокими каблучками по тротуару и вертят задом, как птички на веточке, такие чертовски пикантные парижаночки...

Он щелкал пальцами и еще милее и ласковей улыбался:

— Пошел бы один раз к Прюнье... Знаете, ресторанчик такой в боковой уличке, от больших бульваров. Да-с... Прюнье, никогда не забуду... Сначала пройтись у окон. Боже ты мой, какие витрины... Лангусты, омары, эскарго, устрицы, мули... Весь океан в окне. Устрицы маренн, устрицы партюгэз, устрицы остендские, еще бог знает какие, свежехонькие и почти даром... С лимончиком, с пикантным соусом «кэтчап», со всем ароматом моря и со всей океанской свежестью... Сидят себе вряд на полке— важные, красные, точно кардиналы или римские сенаторы, с усами как у запорожцев это, — лангусты... А рядом омары с клешнями, со сладким мясом... с зазубринами. И такие особые щипчики подают к ним, чтобы ломать скорлупу, чтобы хорошенькой женщине не поцарапать пальчики... А на нижней полке тоже рядом сидят черные, живые еще, и ждут с нетерпением своей очереди, шевелят усищами и глаза таращат на прохожих... Ешьте ж меня, негодяи, надоело сидеть... Да-с... вот это жизнь, вот

это культура!.. Один бы разок еще увидеть и помереть... «Ныне отпущаеши раба твоего...».

* * *

Может ли сон стать действительностью? Может...

Один русский великий князь открыл в Лондоне игорный притон, но прогорел. Другой объявил себя царем, последовав примеру Поприщина, но пока еще в сумасшедший дом не посажен. Третий открыл модную мастерскую в Париже, и так как дело ведет не он, то фирма процветает...

Казаки из личной охраны царя танцуют с кинжалами во рту и поют «Дубинушку» в музик-холлах Парижа.

Около улицы Pigalle чуть ли не двенадцать русских кабаков. «Ночное дело» — называет себя один из них и печатает свои рекламы на керенских тысячерублевках. Былые князья и графини прислуживают знатным иностранцам.

Я слушал «Дубинушку» — печальную, жуткую, почти страшную своей тоской, и думал:

«Отзвуки старой России... Рабство, нищета, гнет, невеста, изнасилованная помещиком-графом, каторжный бестолковый труд без просвета — все в ней... Наверху были графы, наслаждение жизнью, а внизу тоска «Дубинушки». Низ был во сто раз больше верха, но верх умудрялся держаться наверху. Особенно помогал Иисус Христос, его отец и мать, два отца... Какой абсурд!»

Прочь, прочь!.. стыдно за человека.

Французы аплодировали «Дубинушке», а мне было жутко. Гартфельд привозил в Петербург песни каторжан: только они жутче. Я никогда не понимал красоты «Дубинушки», у меня от нее щемило в груди, хотелось плакать, бежать...

...Запах волжской пристани, такой характерный. Паровая стерлядка и шампанское на верхней палубе, а на нижней бурлаки — грязные, смердящие... Всю жизнь проводящая в грязи скотина, ломающая кости под десятипудовыми тюками.

— Шевелись!... шевелись, так твою растак...

Зычный голос капитана с над-верхней палубы.

— Какие они сильные, эти бурлаки, — заметила дама с лорнетом из первого класса. Она говорит по-русски с акцентом, картавя, совсем как в Париже (хотя в Париже не картавят)...

— Это не бурлаки, это крючники...

— C'est la même chose, это те, которые поют такую особенную песню...

Теперь эта дама прислуживает в «Ночном деле» и уже много чище говорит по-русски, и по-моему лицо у нее стало умнее, и она впервые в жизни поняла, что надо жить трудом, а не на доход от саратовских имений...

Впрочем, она это еще не совсем поняла...

* * *

Среди русской эмиграции многим жизнь у чужих пошла на пользу: научились работать, научились

думать; полинял самый густопсовый шовинизм, когда из гонителя пришлось самому сделаться гонимым.

Своеобразную культуру разносит эмиграция по загранице. До Америки, Явы, Китая, Бразилии, Чили, Вест-Индских островов включительно. Цыганщину, русскую водку, гопак, блины, кулебяку, особые приемы комиссионерства, игорные и иные притоны. Замечательная, неожиданно проявившаяся способность приспособляться — иностранцы разводят руками и учатся.

Русская водка делается теперь в любой стране очень просто: местный спирт разбавляется водой и наклеивается русская наклейка.

Русские кабаки, кафе и рестораны имеют успех. Русские притоны затмили всех. Большое влияние оказывается на западно-европейский театр. Нет театра, где бы русские не танцовали: неожиданно светлая страница русского царизма, влияние императорского балета...

Но в общем картина жуткая: я слышал в Монте-Карло, как англичанка сказала соседке:

— Уберите золотой порт-папирос... рядом сидят русские дамы...

И русские дамы слышали и поняли, и ничего...

И день ото дня хуже.

* * *

Вся накипь всего мира ходит около Café de la Paix. Одни только ходят мимо, другие—более счастливые— сидят за столиками, смешиваясь с толпой, составляя ее неотделимую часть.

Этим кафе Парижа отличаются от берлинских, венских: в Берлине заперто, отделено, даже если столики на тротуаре — отделено барьером. В Париже никаких барьеров нет, нет границы между тротуаром и кафе. И странно — немцы так любят все выставлять наружу, все делать на людях, а тут отгораживаются.

Здесь не философствуют о высоких материях. Здесь думают, как из ничего сделать миллионы, или по крайней мере десять франков. Но если бы здесь философствовали, то человечество обогатилось бы такими истинами:

«Нормальный тип человека — жулик. Честный — вредная противоестественная аномалия».

«Говорить правду не только невыгодно, но даже неделикатно. Это вводит других в заблуждение: каждый, слушая сам, вносит поправку, а поправивши правду, остается обманутым».

«Человек вообще паршивец — думает, что постиг величайшие тайны природы, а не умеет взять у другого из кармана сто франков».

«Работать умеет всякий дурак: ты вот заработай, не работавши».

* * *

Самые дорогие вещи те, которые не имеют прямой полезности: бриллианты, жемчуга... Все те пустячки, что продаются в роскошных магазинах «брик-а-брак» от Мадлэн до Лувра. Магазин из мрамора, бронзы, зеркального стекла; все в изысканных пропорциях и оттенках. Продаются ящички для чего-то, сумочки

для чего-то, трубки, из каких не курят; трости, подставки для этих ящичков и трубок; библо, безделушки... Это не искусство, это не имеет никакого практического применения, это не нужно людям и это стоит умопомрачительно дорого...

И, тем не менее, я тоже стою у этих витрин и мне нравится...

Готтентоту нравятся бусы и разноцветные стеклышки. От нас до будущих людей еще дальше, чем от готтентота до нас.

В одном из окон стоят фигурки. Голые женщины в коротеньких красных пиджачках. Никогда и нигде женщины не ходят голыми в коротеньких красных пиджачках: фигурки имеют большой успех. Улыбаешься, глядя на них, и я даже пошел второй раз посмотреть. Только француз может сделать такие фигурки.

В модных магазинах, вместо восковых манекенов, совсем похожих на людей (таких отвратительных), стали делать кукольные лица, нарочно на людей непохожие, иногда плоские, деревянные. Это должны были выдумать французы, и французы выдумали.

В Париже есть все, что во всяком большом городе, и еще тысячи пустячков, каких нет в других городах, и они дают Парижу его прелесть.

* * *

У Картье или Тиффани, королей ювелиров, в шкафах миллионные состояния. Украсть их трудно, но можно все-таки. Но отобрать декретом в пользу народа

нельзя: они потеряют ценность, перестанут быть нужными. За игрушки дерутся дети, но взрослым они не нужны... И все-таки как красивы женщины с жемчугами и бриллиантами; с этими ненужными библо!..

Русский еврей с Востока, разбогатевший во время войны на доставке итальянцам английского угля на американских пароходах, жуликоватый, добродушный и щедрый, говорил мне, сидя в цилиндре и в белых перчатках в своем Рольс-Ройсе:

— Купил вчера банк в Барселоне... Я, знаете, везде люблю иметь свой банк...

Рассказывали, что он зашел в склад Рольс-Ройсов, спросил, сколько стоит лимузин, и приказал:

— Заверните...

Рольс-Ройс ему не могли завернуть, так как Рольс-Ройсы заказываются в очередь, ибо они самые дорогие автомобили в мире.

Но к Тиффани при мне зашла американка с компаньонкой, посмотрела нитку жемчуга в два с половиной миллиона франков, — всего заняло минуты три, не больше пяти.

— Заверните...

Вынула маленькую книжку и написала чек. Точно купила фунт конфект.

* * *

У братьев Зелигман в окне выставлен шкаф XV века, подлинный, оглаженный веками, изъеденный червями,

такого цвета, какой нельзя подделать, безобразный, ни для чего теперь ненужный...

Сколько стоит? Семьдесят пять тысяч франков.

Мимо идет американец, Форд. Заходит.

— Заверните...

И жертвует шкаф в музей.

Очень умно, очень хорошо; или очень глупо, возмутительно...

Я не знаю, чего больше... Только что-то не так, как должно быть.

* * *

Лувр. Я стоял перед полотном Анжелико и любовался красками. Ранняя итальянская живопись. Краски яркие, сочные, радостные — в противоположность мрачности всего христианского. Четырнадцатый век, начало пятнадцатого, инквизиция, густой мрак — и вдруг такие краски, языческие... Мрак тут и ужас на том свете. Ожидание страшного возмездия за все злое и довольно сомнительная по качеству награда (рай) за все доброе, а доброе — отказ от всего хорошего, от благ жизни...

Рядом, в большой галлерее, самой удивительной галлерее мира, есть полотно «Рай», Тинторетто. Печальный рай... Не хочу такого рая. Мрачные типы лежат на мрачных облаках и смотрят на мрачного бога... Не надо! Только задушенная ложной мрачной религией фантазия человека могла выдумать такой рай...

* * *

Маленький, юркий служащий Лувра старался втолковать на своеобразном английском языке компании знатных американцев (знатные — много денег, нажитых на свинине) прелесть этой картины Анжелико, величие самого Анжелико.

— Одна из драгоценных гемм Лувра... Значение ее для всей последующей живописи колоссально...

Американцы плохо слушали, как он их ни устанавливал около картины. Свиные консервы в патентованной укупорке или Анжелико?..

Какой же может быть вопрос? Сколько стоит эта картина? Гроши, в сравнении с годовым оборотом консервного завода...

Американцы оживились только на минуту в зале Аполлона, когда маленький французик назвал дневник Екатерины Медичи «дэйри» вместо «дайри» (dairy): «дайри» значит «дневник», а «дэйри» — молочная ферма, тоже и слишком большие женские груди (по-русски — «молочное хозяйство»).

* * *

Настоящий американец состоит из доллара и сенсации. И ради сенсации владельцы мясных консервов постояли у «Джоконды». Она ничего не сказала им своей улыбкой, но около нее ореол сенсации: была украдена, найдена и даже говорят, что это копия, а оригинал в Америке, у владельца консервированного молока. И столько было о ней жирных заголовков...

Об улыбке Джоконды, Лизы дель Джокондо, рассказано: «Леонардо да Винчи четыре года делал этюды ее портрета, чтобы уловить на полотно эту очаровательную улыбку и чтобы во время сеансов Монна Лиза не уставала и улыбалась, он окружал ее певцами, менестрелями, шутами... И только на четвертый год поймал улыбку...».

Но не это интересовало янки из Чикаго, а история склонна к преувеличениям и подтасовке фактов.

* * *

Я побежал к картине Мемлинга, висящей у самого входа, в непонятной компании. Родоначальник фламандской школы, северный гений красок, почти современник Анжелико и Ботичелли. Другая гемма Лувра, шедевр, вечное творение.

Потом вернулся к Анжелико. И думал опять о сегодняшней религии. Если тогда религия вдохновляла художников, кого она вдохновляет сейчас? Кого вдохновляет сейчас православие, во имя каких идеалов?.. «Бей жидов»...

Я смотрю с завистью на людей, которые улыбаются, когда задумаются, улыбаются помимо воли: у которых на лице написан юмор, для которых улыбка нормальное состояние лица. Как я завидую им! Как я хотел бы тоже всегда улыбаться... Но глубоко в душе сидит мрак раскольничьих скитов; всеми усилиями я сбрасываю его всю жизнь и никак не могу совсем сбросить. Иногда мне делается вдруг страшно, безотчетно

страшно, без всякого основания; вдруг страшным кажется мир, страшно жить в нем, и надо усилие воли, чтобы отбросить это проклятое чувство, и я знаю, откуда это — это от предков, от десятка поколений, от раскола, от одного из видов преступного извращения учений Иисуса. «Последние времена».

Мы взяли от евреев худшее, что было у них, и отбросили лучшее. У великого еврея-философа, радостного, всепрощающего, мы не взяли его радости и примирения и отрицания религии.

В соборе Мадлэн стоят статуи с мечами. Классическому веселому праздничному идолу прибавили меч и назвали это христианством. Неповинен в этом Христос, он не говорил:

«Не мир принес я вам, а меч».

Он этого не говорил, или его вообще выдумали, приписавши ему противоречивые мысли, мнения касты, а не друзей народа. И в этом сумбуре ищет современный мир опоры. Но она все слабее, шатче, уже во многих местах повалилась. Нужны уже истинные ценности. Человечество подросло, оно бросает уже бирюльки и побрякушки.

* * *

В конце XVIII века громадные художественные сокровища были собраны в монастырях, церквах и у знати. После революции декретами правительства все отбиралось в музеи, становилось достоянием народа...

Но только самая ничтожная часть попала в музей.

«Обогатились дворцы русских вельмож и английских лордов», — печалуется составитель официального путеводителя по Лувру.

Очень многое погибло безвозвратно.

Вздыхая о погибших теперь в русских усадьбах библиотеках, гобеленах и обюссонах, пошедших на штаны и портянки, можно утешиться сравнением: у нас погибло очень немногое; даже на удивление всему миру уцелели ненужные и наиболее соблазнительные драгоценности русской короны. Французское правительство продало большую часть камней — уже в 1887 году, — как предметы, не имеющие художественной ценности. Состояние русских музеев заставляет удивляться самых убежденных пессимистов.

* * *

У Кука.

— Какой поезд удобнее на Ривьеру?

— Без пересадки только 7.50, один первый класс.

Кто станет спорить, что личная выгода для современного человека есть лучший импульс энергии и инициативы. «Частные предприятия как будто работают лучше государственных». Кто станет спорить... Нормальный современный человек будет ночь ворочаться и думать о своих десяти рублях и спокойно уснет, если ему поручено думать об общественном миллионе. Но только частная компания может дойти до такой наглости, до какой доходят железнодорож-

ные компании во Франции. Плати за первый класс или пересаживайся несколько раз, жди на вокзалах нарочно. Это называется «хорошо работать». Это уменье прижать и выжать характерно для всех организаций капиталистического строя, и этим во многих случаях объясняется их успешная работа.

Железные дороги Германии принадлежат государству. И германские железные дороги превосходны

* * *

Я хорошо знаю, как наживаются миллионы. Не теоретически только знаю — практически. Я сам их наживал. Сейчас я пишу своего рода рецептуру: «Как наживают миллионы». Сотни конкретных случаев — в былой России, в Западной Европе, в Америке...

Везде одна общая черта: без производительной работы. Везде «комбинация», ловкий способ сосредоточить в своем кармане деньги одного, нескольких или многих.

Я пишу о «честных» способах наживы, не о мошенничествах, наказуемых законом. Но законы современного мира именно и написаны для комбинаций... Четыреста уже лет они все совершенствуются и дополняются. Все вместе называется «священное право собственности».

В Америке имеет большой успех книга недавно умершего американского писателя Честера: «Богатство Уолингфорда». Уолингфорд, это — ловкий американец,

стремящийся к одному — наживать во что бы то ни стало доллары, при этом самыми легкими и быстрыми путями.

В каждой главе он выдумывает новый способ нажить деньги, обманувши кого-либо, и в то же время избегает кары закона. Законное мошенничество...

Тут краски несколько сгущены. Но жизнь капиталистического мира, это — Уолингфорд... Все, кто наживает много денег — уолингфорды, за малыми, очень редкими исключениями.

Чем больше человек работает, — понимая работу как производительный труд, — тем меньше у него шансов стать миллионером...

Писатели глубоко буржуазного мировоззрения, далекие от доктрин Маркса, как звезды от земли, и они начинают понимать это. Владельцы миллионных газет, короли издательских трестов, херсты, ротермиры, биверблуки не похвалят за такие писанья, не напечатают, не издадут, и прямо писать нельзя — надо подносить в шутливой, замаскированной форме, в роде как писались эзоповские статьи в дореволюционной России.

В книжке «Грабеж городов» Арнольд Беннет, оговорив, что это «фантазия», изображает американского миллионера, которому надоели обычные биржевые «сделки», и он занимается для забавы прямым грабежом. Ограбив директора крупного акционерного предприятия на пятьдесят тысяч фунтов, он говорит, смеясь:

«Все, от кого он (директор) накрал, — накрали сами. Вся работа биржи не что иное, как различные проявления того же первобытного инстинкта...».

* * *

В купе первого класса спать нельзя. Шесть мест, все занято. С горя читаю большой официальный путеводитель. Описание департаментов Франции, по которым едем.

Дижон (Бургундия).... «Хорошее вино требует бережного и умелого обращения. Вино надо уметь пить. Это целая наука... Красное вино должно быть на два градуса выше комнатной температуры. Бутылку надо откупоривать в высшей степени осторожно, в наклонном положении, как она лежала, чтобы не взмутить осадок. Открывши, надо дать постоять час — два, вину надо дать вздохнуть... Большой тонкий бокал яйцевидной формы осторожно наполняется приблизительно на треть и приводится в колебательное движение так, чтобы налитое вино пришло в круговращательное движение... Нужно вдохнуть в себя этот выделившийся в пустую часть бокала аромат и сделать маленький глоток, задерживая вино во рту, чтобы полностью воспринять его вкусовые качества. Губы при этом нужно сложить в виде куриной ж..ы (cul de poule) и так держать их, пока взятое в рот вино будет проглочено: только таким образом уловится весь букет вина».

Так пишет председатель общества виноделов или еще чего-то в официальном путеводителе. Замечательно!.. Меня эта куриная ж..а привела в такое хорошее настроение, что я долго учился складывать так губы, к удивлению моих соседей, вероятно, и с удовольствием читал дальше о Лионе.

> «Кутон и Колло д'Эрбуа нашли, что гильотина слишком медлительна, чтобы уничтожить всех арестованных, и поэтому они решили вывезти их в долину Бротто, около города, и там расстреляли из пушек, заряженных картечью...»

* * *

На утро Марсель. Город буй-аббеса и антисемитизма, и дальше прекрасная Ривьера, с лучшим в мире лазоревым морем...

И я думал:

Если люди, живущие в этом благодатном климате Франции, в здешней ласковой природе, расстреливали друг друга в революционной борьбе картечью, то какими неистово-звериными способами должны были уничтожать друг друга в России, в климате суровом, среди природы мрачной, измученные веками горя? Ужас, ужас! революция — ужас, но она не может быть иною.

Это я понял давно, в первый день февральской революции. Ни о чем другом не думая, поглощенный животной жаждой жизни, я хотел уехать в пер-

вый же день, сейчас, бросив все, но уже не шли поезда с Финляндского вокзала.

Революция — террор. Иначе быть не может. Не должно быть.

Тогда жизнь моей особы казалась мне такой высокоценной, и я смотрел как на сумасшедших на тех, кто остается. Знакомый банкир говорил мне:

— Вы как раз уезжаете, когда миллионы будут валяться на тротуарах... Что такое революция?!. Умный коммерсант тем и отличается, что он должен уметь ориентироваться во всякой новой конъюнктуре...

Он сидит теперь на чердаке в Париже, а другой, присутствовавший при разговоре, болтается на фонарном столбе. Это метафора, понятно — он расстрелян... И как могло быть иначе? Тогда не было бы революции.

* * *

В большом олеандровом кусте уселась цикада и состязается с оркестром. Он (цикада-самец) думает про оркестр, что это большая цикада другой породы и может соблазнить его возлюбленную, и надрывается стараясь перестрекотать.

Люди слушают музыку и уверяют себя, что они приезжают сюда ради музыки, но это неправда — только ради игры, игра влечет всех, тянет, волнует, поглощает .. Игра глупая, безумная для всякого, кроме акционеров игорного дома. Он называется не игорный дом, неловко, а «Общество Морских Купаний

Монако». Купаются двадцать человек, играет три тысячи. И те, которые купаются, тоже играют... и, купаясь, думают об игре...

Но и дела акционеров не те, что были. Акции упали в три раза... Все кругом осерело, обеднело, — одемократизировалось... Вместо золота костяшки; вместо русских «бояр» и «дюков» — нечто «уцелевшее от виселицы за последние десять лет», как сказал когда-то Шекспир.

Но зато я пришел к мысли, что «Общество Морских Купаний Монако» одно из самых честных капиталистических предприятий: оно не присвоило себе орудий производства, оно строит свои доходы на глупости бездельников, а не трудящихся масс, и к ним можно итти и можно не итти.

* * *

... На белой мраморной балюстраде женская ножка. В шелковом чулке «мореск» и в белой туфельке — тоже как мрамор. Сколько поэзии в женской ножке! Или бессмыслицы, может быть... Она только что играла и вышла на балкон одуматься, вздохнуть. Я слышал, как она сказала своему спутнику:

— У меня дрожат руки... я вся дрожу...

С утра они играли мелко. Я наблюдал. Мне нравилось ее возбужденное личико. Хорошенькая, милая женщина с горящими глазами... Она не замечала окружающего, никого, только шарик рулетки и ставки на

темно-зеленом сукне. Желтые линии квадратов. Глаза лихорадочно горели. Здесь у многих горят глаза. Но зато у других уже давно потухли... Игра!... Игра...

* * *

Тут, на террасе у моря, среди пальм и олеандров, симфонический оркестр играет «Лоэнгрина», а на той стороне казино орет, стонет и завывает саксофон. Орет сейчас, орет ночью. Я засыпаю под его завывания. Нарочно взял в «Hôtel de Paris» комнату с балконом на эту сторону, засыпаю на свадьбе у сатаны... Нет, не свадьба у сатаны, а отходная старому миру... Прощай, старый мир... Для нас, немногих, ты был довольно удобен, у тебя была и своя красота... но будь ты проклят!.. Саксофон будет петь тебе вечную память...

... Она только что играла и была в крупном выигрыше. Когда шарик уже бегал по черной окружности, они вдвоем начинали нервно разбрасывать красные «луи» и серые «пляки» по «соседям» нуля: зеро, 2, 3, 4, 7, 12, 15, 19, 21, 26, 28, 29, 35... Все время те же цифры. Торопились, нервничали, крупье помогали. Когда шарик уже прыгал на диск, что не успели поставить, швыряли на стол, и шеф стола принимал ставку на слово. После всякого выигрыша «ан плен» крупье получали на чай сумму ставки, теперь так принято; все во Франции получают на чай. Стыдно вам, милая Франция. Впрочем в этом мире ничего не стыдно, вы правы; берите, что дают, и берите сами, не спрашивая, если можете...

Все увеличивали ставки.

Когда они пришли утром в казино, у них было 2.200 франков, и они решили выиграть восемьсот, до трех тысяч. И уйти — нужно было платить за месяц в пансионе, нужно было как раз восемьсот франков... Громко и подробно об этом говорили. Они выиграли эти восемьсот франков и ушли... Но после завтрака вернулись обратно и стали играть крупнее.

Она громко, не стесняясь, на весь стол говорила:

— Уже пятьдесят две...

Выиграли пятьдесят тысяч!.. Для них, для эмигрантов, нищих, выбитых из привычного, потерявших голову, никогда не умевших работать, — целое состояние.

— До шестидесяти, и уйдем...

Но до шестидесяти не вышло. С каждой новой ставкой стало убывать. Меньше и меньше.

— Подожди полосы... вернем. Начали караулить зеро, надо продолжать...

Становилось все меньше. И перед тем как выйти на мраморный балкон, она подсчитала:

— Семь тысяч двести...

Она нервно мяла в руке оставшиеся тысячные билеты и костяшки. Уйдут без франка.

* * *

Она была так счастлива два часа тому назад. Была... Но прямоугольные пляки и тысячные бумажки ушли обратно к «Обществу Морских Купаний». «Общ-

ство Морских Купаний» не играет — для него работает математика, непреложная математика. Математика сильнее самого большого счастья...

Почему было не уйти, когда была в таком шальном выигрыше... Почему?! Казалось бы так просто и ясно — схватить и бежать, и унести свое счастье... А вот вы попробуйте играть сами.

Что впереди?.. Может быть такое, как у этого англичанина, что сидит тут за средним столом рулетки. Прилично одетый, в безупречной рубашке и в белом галстуке, джентльмен; с отполированными ногтями, чисто выбритый; он сидит тут каждый день, обложенный таблицами и книжками, с двух часов — когда открываются эти залы «Cercle privé» — и до двух ночи — когда они закрываются Он считает, отмечает, горящими глазами следит за белым шариком. Сменяются крупье и шефы, шарик переходит из рук одного к другому, приходят и уходят играющие: шикарные женщины сменяют трясущихся старушек со смешными бантами, вместо джентльменов в белых штанах приходят джентльмены в смокингах, движутся туда и назад просто люди, каких не принято звать джентльменами в старом мире — а он все сидит, пишет, отмечает, считает... И никогда не делает ни одной ставки. У него нет денег. Он все проиграл, давно уже...

Он не заявил «Обществу Морских Купаний» никакой претензии, не взял денег на выезд, чтобы оставить за собой право сидеть тут. Деньги на выезд

называются «виатик», последнее причастие умирающему — после него уже никогда нельзя войти в эти залы... Он не взял... Его все знают и не трогают. Пусть сидит. Он тихий, тихий сумасшедший... Он не может жить без рулетки, без этой атмосферы игры. Если его убрать отсюда, он вероятно, станет буйным или умрет.

* * *

Вот эта американка, что сидит за столом «трант-э-карант» и небрежно швыряет на стол тысячные костяшки. Ее даже выигрыш не интересует. Жемчуг три раза обмотан кругом шеи и спускается до колен. Она подняла его на стол и перебирает целую кучу унизанными пальцами.

— Сколько стóит такой жемчуг?

— Не меньше полмиллиона долларов...

Сзади почтительно стоит компаньонка. Ее обязанность подавать папиросы, держалку для них, спички, коробочку с пудрой, губную помаду, флакон с духами, еще какую-то соль для нюханья; но главное — наблюдать за драгоценностями госпожи, чтобы не потерять, чтобы не украли.

Я видел вчера эту американку на купаньи. Она приехала в своем Пакаре, с своей яхты. У нее три автомобиля на яхте. Яхта стоит в порту Монако. Звала компанию таких же американцев завтракать на яхту, но те уехали в горы — сегодня жарко...

Я, миссис, против вас ничего не имею. Мне приятно сидеть с вами рядом, потому что у вас души-

стое белье и от ваших папирос, обернутых розовыми лепестками, приятный дым. Даже ваша чересчур обнаженная костлявая спина и раскрашенное лицо не возбуждают во мне неприязненного чувства. Только вот ногти наманикюрены у вас до противности... Но как вас, миссис, терпит в Америке рабочий ваших заводов, гниющий в туковых подвалах Чикаго, или другой, двадцать лет без просвета сыплющий руду в ваши доменные печи в Питсбурге, задыхаясь в ядовитых газах, — этого я не понимаю... На его месте я давно озверел бы, порвал бы ту волшебную синюю бумажку, которая позволяет вам покупать яхту, жемчуга, исполнять все вздорные ваши капризы ограниченной вашей фантазии... заставил бы вас работать.

— По какому праву вы, миссис, пользуетесь жизнью, как хотите, ничего не делая, а я умру от туберкулеза в сорок два года, никогда не видев достатка и никогда не бывши свободным? — сказал бы я вам.

— Нет, довольно... Возьмите, миссис, швабру и идите мыть пол в общественном здании... кстати ваш противный маникюр пооботрется... И мойте как следует, а не то... А вы со своей незлобивостью и пацифизмом, мистер, отойдите в сторонку, подальше... Много мы слышали уже медовых речей о мире: мир наступит тогда, когда мы ликвидируем уважаемую миссис и по-своему перестроим ваше римское право...

Берлин, Целендорф Вест,
Вилла «Нина».

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ.

Стран.	*Строка.*		*Напечатано*:	*Нужно*:
15	8	снизу	Railwars	Railways
27	12	сверху	разными	равными
28	8	снизу	Как	как
29	14	»	250 от	250, от
36	12	сверху	покупают	пакуют
41	8	снизу	аукциона	аукционам
49	7	»	Иошуа-бен,	Иошуа-бен-
55	7	сверху	невыкупленные	невыкупленное
66	10	снизу	тортов	«тостов»
71	13	сверху	путешествовать зря	путешествовать не зря
72	6	снизу	итальянку	итальянку,
77	17	»	уже все,	уже все кончено
77	1	»	Gnëdige	gnädige
87	между 4 и 5		строкой снизу выбросить * * *	
102	6	снизу	чаща	чаша
109	10	сверху	паутины	патины
111	10	»	цнях	циях
119	10	»	Кювье	Прюньс
»	12	»		
»	15	»	партюгоз	портюгэз
126	4	»	Форд	форд


3 0112 115468958